

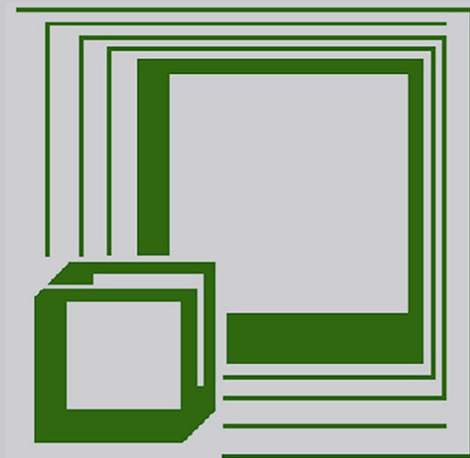
- ❖ К 20-летию журнала «Студия/Studio». Материалы прошлых лет
- ❖ Josef Brodsky. Aus dem Russischen übertragen von Melitta Neumann
- ❖ Т. Баскакова. Третий послевоенный Фауст, или Новый ветхозаветный Адам
- ❖ П. Крючков. «Мне всё больше видна её мучительная судьба впереди
- ❖ О. Мельникова Тяпи, Зося, як пришлось!

20-21

СТУДИЯ

Berlin ✱ Hannover ✱ Москва

STUDIO



НЕЗАВИСИМЫЙ РУССКО-НЕМЕЦКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
UNABHÄNGIGE RUSSISCH-DEUTSCHE LITERATURZEITSCHRIFT

СТУДИЯ

STUDIO

20-21

Berlin ✱ Hannover ✱ Москва

2015

Редактор журнала
Александр ЛАЙКО

Редакционная коллегия:

Антонина КУДРЯВИЦКАЯ, Марина НАУЙОКС,
Ильзе ЧЁРТНЕР, Вадим ФАДИН, Хольгер ШВЕНКЕ,
Виталий ШНАЙДЕР

Художник: Маргарита РЁШ

Технический редактор
Иосиф Малкиель

Redakteur:
Alexander Laiko

Redaktion:
Sergej Vikman, Antonina Kudrjawizki, Marina Naujoks,
Vadim Fadin, Melitta Neumann,
Holger Schwenke, Vitaly Shnayder

Layout
Design: Margarite Rösch

STUDIO - ZEITSCHRIFT
ISBN:3-938902-30-2

Адрес журнала «Студия / Studio»: studiozeitschrift@yahoo.de
Журнал в интернете - <http://www.vtoraya-literatura.com/>

СОДЕРЖАНИЕ:

ПРОЗА – PROSA:

Леонид Лейках. Жор тухлых яиц на тризне великого Сталина. Рассказ	6
Борис Черепашенец. Чертова поляна. Ромны. Рассказы	15
Леонид Усач. Выпьем за Сталина! Рассказ. Ленинцы. Из воспоминаний актёра	22
Григорий Аросев. Путешествие школьника. Рассказ	62
Нина Турицына. Лишний ключ. Рассказ	86
Виктория Жукова. Странные времена. Рассказ	121
Ирина Винклер. Мой друг Рональд, Запеканка Рассказы	175
Виталий Шнайдер. Жулики бесплатных уроков не дают. Рассказы	180

ПОЭЗИЯ – LYRIK:

Ольга Завадовская	50
Владислав Пеньков	54
Геннадий Беззубов	78
Елена Иноземцева	105
Дарья Зайчикова	117
Евгения Мильченко	132
Сергей Филиппов	143
Наталья Филимонова	173

ПЕРЕВОДЫ ИЗ НЕМЕЦКОЙ ПОЭЗИИ:

ÜBERSETZUNGEN AUS DEUTSCHER LYRIK

Юзефа Варцог, Райнер Мария Рильке. Перевёл с немецкого Сергей Викман	39
---	----

ПЕРЕВОДЫ ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ:

ÜBERSETZUNGEN AUS RUSSISCHER LYRIK:

Josef Brodsky. Aus dem Russischen übertragen von Melitta Neumann	30
--	----

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ – GESTERN UND HEUTE:

Ольга Калинина. Вкус Крыма. Воспоминания об Артеке	110
---	-----

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ – SCHRIFTSTELLER UND SEINE ZEIT:

Татьяна Баскакова. Третий послевоенный Фауст, или Новый ветхозаветный Адам	42
Павел Крючков. «Мне всё больше видна её мучительная судьба впереди...»	70

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ИСТОРИИ – KREUZWEGE DER GESCHICHTE:

Леонид Аранов. Русские legionеры. (Почти был)	134
Ольга Мельникова. Тярпи, Зося, як пришлось!	146
Коротко об авторах	190

*На тыльной стороне обложки картина «Теннис»
московского художника Георгия Мелеги.*

К 20-ЛЕТИЮ РУССКО-НЕМЕЦКОГО ЖУРНАЛА «СТУДИЯ/ STUDIO»

Журнал «Студия» начал выходить в Берлине в 1995 году. Огромную помощь в создании журнала оказал Лев Зиновьевич Копелев – известный правозащитник и замечательный писатель, литературовед, германист, лишённый в 1981 году советского гражданства и живший в Германии. Он-то нам и посоветовал издавать двуязычный журнал. С той поры выходит «Студия» на двух языках, но не весь текст номера даётся на немецком, а выборочно. Цель такого приема – вызвать интерес немецкой публики к русскоязычным авторам, и русской – к творчеству немецких писателей. Именно этим «Студия» и отличается от всей русскоязычной журнально-альманаховой продукции Германии. Особая заслуга в этой работе принадлежит Ильзе Чёртнер – профессиональному переводчику русской литературы. Хочется вспомнить в наш юбилей и художника журнала – покойную Маргариту Рёш (Риту Петушкову). Её рисунок на обложке, в память о Рите, мы повторяем из номера в номер.

В подзаголовке нашего журнала значится: «Независимый русско-немецкий литературный журнал». Как сладкозвучно для нас было и есть это слово – независимый. Мы на опыте собственной жизни хорошо усвоили уроки литературного процесса в социалистическом обществе с нечеловеческим лицом. И все эти годы мы не зависели ни от русских, ни от немецких чиновников, ни от денег спонсоров, ни от какой-либо цензуры, ни от вертикали или горизонтали власти.

Юбилейный номер «Студии» открывается текстами трёх авторов из наших первых выпусков под заголовком «Материалы прошлых лет». Конечно, мы могли бы привести несколько профессиональных литературных произведений известных авторов, появлявшихся на страницах нашего журнала за это двадцатилетие. Но для юбилейного номера мы выбрали несколько текстов непрофессиональных авторов, отражающих интересы и настроения первой постперестроечной волны русской эмиграции. Ведь действительно – Сталин, война, застой, антисемитизм, – это все горячие темы, с которыми приехали эмигранты 90-х гг. и которые до сих пор ещё до конца не переработаны нашим сознанием. Литература факта не всегда

становится фактом литературы, но живой человеческий голос участника событий всегда интересен и ценен.

Сейчас в журнале, наряду с этими, появились и новые темы – одиночество человека в большом многонаселённом городе, размывание семейных ценностей, трудности межличностных контактов – и все это, помноженное для нас на адаптацию к неродному языку и немецкому жизненному укладу. Особое внимание уделяется темам интеграции.

И, конечно же, совсем новая тема – угрозы мусульманского терроризма, насилия и необходимости сосуществования с людьми чужой ментальности и чужого образа жизни. Такое сосуществование для нас, эмигрантов, может стать «эмиграцией в квадрате», что требует ещё своего литературного осмысления и новых произведений, которые, мы надеемся, появятся на страницах нашего журнала. Двери его, как всегда, широко открыты для отечественных авторов и тех, кого судьба разбросала по всему миру.

Редколлегия журнала «Студия/Studio».

Материалы прошлых лет

Леонид Лейках

ЖОР ТУХЛЫХ ЯИЦ НА ТРИЗНЕ ВЕЛИКОГО СТАЛИНА

В конце рабочего дня в цех прибежала уборщица и рассказала небывальщину – в «Мясо-Рыбе» дают яйца! Сколько хочешь, по госцене! Но... протухшие. Поверить в продажу даже тухлых яиц было трудно. Шёл 1953 год. В последние полгода в «Мясо-Рыбе», да и во всех магазинах Иркутска, кроме опостылевшей кильки в томате, непонятных крабов и костного жира ничего и не было. На рынке продавать мясо не разрешали – колхозники почему-то не сдали поставки. Правда, на новый год выбросили свиные головы, они с печальной ухмылкой смотрели на нас с витрин. Куда девались сами свиньи, приходилось только гадать. Нас, приезжих молодых специалистов, не связанных с семейными запасами, постоянно преследовало чувство голода. Мы совсем отошляли.

Несмотря на собачий холод – где-то минус сорок – попёрся в «Мясо-Рыбу». Надежда юношей питает.

И, правда! Прямо в зале стояли деревянные ящики с яйцами, уложенными в стружку. На картоне, торчащем из одного, было намалёвано:

Яйца ЛИЖАЛЫЕ

Разрешены санэпидем станцией к употреблению

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТИРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

На прилавке в блюдце лежало несколько разбитых яиц. От них шёл несильный, но противный дух. После какой такой термообработки их можно было употреблять, оставалось непонятным. Продащица уверяла всех, что на пироги они пойдут. Но толпящиеся в магазине женщины покупать опасались. Я рванул в университет к Коле Северцеву – мы

вместе снимали квартиру – и изложил ситуацию. Мы тут же примчались обратно.

Коля обнюхал яйца, посовал в них спичку, с осторожностью облизал и сплюнул. После недолгого размышления отозвал меня в сторону и изложил кредо: Что – влачить жалкое существование вечно голодных дистрофиков, что – травиться тухлыми яйцами, все одно. Либо мы питаемся как люди, либо нас кормят в больнице. Отравы здесь, наверно, нет. Микробов уничтожим на сковородке. А то, что дух противный, то не духом единым жив человек, а, больше, белками. Идём на риск! И... по крупному. Вкладываем в яйца все наличные. А там – что-нибудь придумаем. Коля был и сыном, и внуком выдающихся биологов, и в этом вопросе ему можно было доверять.

Так мы оказались собственниками двух ящиков с «лижалыми» яйцами общей численностью 400 штук (четыреста!). Потрясающее богатство! Но тухлое.

Да! Это был крупный риск! Мы вложили большую часть наших скудных зарплат. Был день получки – первое или второе марта 1953 года. Под иронические взгляды женщин мы взгромоздили ящики на плечи, и потащились домой, тревожно размышляя о возможных трагических для нас последствиях этой неожиданной авантюры.

Придя домой, содрогаясь от голодного вожделения, мы начали готовить традиционную яишню. Конечно, мы приняли и меры предосторожности – щедро посыпали и красным, и черным перцем. Но чуда не случилось. От прекрасного с виду омлета несло духом могилы. Но сил утерпеть не было. Стараясь не дышать, мы умяли яишню до последней крошки. Вскоре началась отрыжка тухлым. Вконец убитые неудачей – ни продуктов, ни денег – мы завалились в постели. Лёжа я начал сетовать – «Какие же мы идиоты, хотели выиграть у советской власти...». Коля повернулся лицом к стене и молчал.

Тем не менее, назавтра после работы, подгоняемые импульсами голодных желудков, мы начали кулинарные эксперименты. Коля химичил над яйцами – с пищевой содой, уксусом, спиртом и активированным углём, который притащил из университета. Грел, взбалтывал, взбивал, фильтровал. Получалась липкая масса, которая если и повиновалась, то уже совсем по-другому – как-то изысканно.

Я занялся аннигилирующими добавками. Козырным тузом этой кулинарной разработки стала черемша. Даже у нас холостяков она была заготовлена против цинги – солёная и подсушенная. Если кто не знает

– черемша это дикий лесной чеснок, оч-ч-чень пахучий. Совсем недавно я прочёл о черемше в письмах из Сибири сосланного туда в 30-е годы знаменитого острошлова – Николая Эрдмана (автора сценария «Весёлых ребят»): *«Дивизия, обожравшаяся чесноком, должна пахнуть, как ветка сирени, по сравнению с шестнадцатилетней девушкой, навешенная черемши»*. Он нисколько не преувеличивал. Черемша забивала любой запах. Но есть её можно было только соборно.

Я перекрутил черемшу на мясорубке, добавил перец – красный и чёрный, горчицу, лесную малину сушенную, кусочки сала из стратегического запаса. Добавил мочёную булку, натёртый картофель. Влил за чем-то грамм 100 водки. Мы тщательно смешали модифицированную черемшу с обработанной яичной массой и снова пропустили через мясорубку. Из всего этого я слепил котлетки и хорошо прожарил на костном жире.

Не без опаски мы приступили к рискованному ужину. Однако едо-во теперь оказалось на удивление вкусным, с каким-то папуасским вкусом и ароматом. Мы умяли все, и запили водкой. Оставалось ждать реакции. Попросили соседку утром провести нас и отправились спать, приготовившись к худшему.

То, что утром мы встали в прекрасном состоянии и, даже, без головной боли было для нас приятной неожиданностью. Путь к великому жору был открыт. Мы наметили его на 8 марта, намереваясь пригласить (не без коварного умысла) избранное женское общество.

Однако тут же тяжёлые шаги истории растоптали наши радужные планы. Появились сообщения о болезни Сталина. Праздник 8 марта отменили. Мы следили за событиями с нездоровым любопытством и надеждой – наконец-то! Сталин и у меня с Колей, да и у всех наших иркутских друзей симпатий не вызывал. Постоянные разоблачительные компании, которые мы с отвращением наблюдали, были либо смехотворны – вроде борьбы с джазом, либо нелепы – как дело арестованных «врачей-убийц». Мы нисколько не верили ни во вред джаза, ни в безрассудство сытых привилегированных кремлёвских врачей – зачем-то продаться ещё и империализму и сионизму. А толстошие толстопузые вожди, их постоянно подавали в киножурналах, были нам просто омерзительны.

Вечером, в день, когда объявили о долгожданной смерти Сталина, собралась наша компания. Обсуждали практические последствия, надеялись на послабления. Девятое, кажется, марта был назначен днём

траура – нерабочим. Траур мы решили ознаменовать пьянкой с использованием для закусы тухлых яиц. Было что-то в этом символичное.

Высказывались и опасения – не припаяют ли нам минимум по червонцу за пьянку, когда всем ясно было предписано выражать печаль и проливать слёзы. Но тут выступил Коля с исторической справкой. Де – в древних традициях славян на смерть вождя устраивать тризну, пировать и веселиться – «Ковши круговые напелясь шипят на тризне печальной Олега. Князь Игорь и Ольга на холме сидят, дружина пирует у берега» – продекламировал он. Довод был сильный, и мы весело приняли решение в духе тогдашней демагогии – возродим древний, исконно-русский народный обычай – тризну, отмечая навязанный иностранщиной гнилые западные траурные обычаи.

В день траура участники тризны стали собираться с полдня. По радио передавалась печальная классическая музыка. Однако в предвкушении отменного жора на душе было радостно. Радостно было и оттого, что покончено с нашим обидчиком, под дамокловым мечом которого мы себя постоянно ощущали.

Со мной, например, приключилось следующее. Сразу по приезде на завод я был поставлен зам секретарём комсомольского бюро. Однажды меня и секретаря пригласили на совещание в обком. Там секретарь из ЦК ВЛКСМ, надсаживая грудь, уговаривал – открыто без утайки рассказать о причинах неполадок в иркутском комсомоле. И я попался на удочку – высказался! Другие выступающие мямлили о необходимости сплачивать ряды и тому подобное. После совещания был богатый стол, все честь по чести – секретарь отбывал в Москву и благодарил всех выступавших.

Прошло два или три дня. После обеда меня нашли в цеху – срочно в партбюро. Там уже сидел секретарь комсомола – с перекошенным от страха лицом. Секретарь партбюро, весь красный, говорил в трубку «...Николай Иванович, он же просто дурачок наивный, необстрелянный... Ну и что же, что из Москвы, там что, дураков мало? Какая там клевета на советскую молодёжь – просто болтун неопытный... Николай Иванович, дорогой, если отдадим его, у нас некому будет новую модель вести.... В том то и все дело, что инженер он толковый.... Директор очень просит – он заводу нужен Спасибо Николай Иванович. ...Будем следить Николай Иванович, отвечаем головой... Не сомневайтесь, за нами не пропадёт. А этих – угомони. Вместо того, что бы народ сажать, пусть лучше фезеушниками занимаются, распустились совсем». По яростным взглядам,

которые бросал на меня секретарь во время разговора, я уже уяснил, что речь обо мне. Отдышавшись, он обрушился на меня ...

А у одного из наших приятелей погиб на Корейской войне старший брат – лётчик. На поминках он и отец крепко выпили и прошлись по тем «кто своих сынков в Корею не посылает». Назавтра их взяли. Сочли намёком на Васю Сталина. Володю еле отстояли друзья по охоте, связанные с органами, а старик отец пошел по этапу, хорошо хоть близко – в Тайшет, на завод в «Озерлаг».

Так все мы и жили – «не тужили».

Собралось у нас человек пятнадцать. Женщины заранее заготовили кулинарную массу по отработанному Колей и мной рецепту. Из неё предполагалось по ходу тризны выпекать в духовке горячие изделия разной формы – с пылу, с жару. На это дело мы не пожалели более сотни яиц из нашего фонда морального и физического возрождения.

Сначала напекли фигуры в форме традиционных рыб и медведей. Вкус этого едова оказался, как выражался потом Райкин, спсцфическим. Чудесным образом «лижалый» запах яиц, объединенный с острой черемшей и пряностями, создал потрясающий экзотический обонятельный и вкусовой букет (жаль, потом не было условий это повторить). С громадным энтузиазмом мы начали уминать все под водку.

Тут наш художник Сима принялся лепить монумент «Рабочий и колхозница» – наподобие гипсовой статуэтки (Мухиной), моей заводской премии за достижения в 1952 году. Но в его интерпретации рабочий опустил молот на голову колхозницы, а она пилила серпом у него ниже пояса. А потом в дело включились все. Новые фантазии становились все смелее и смелее. Скульптуры украшались – где морковкой, где скорлупой от яиц. Три композиции, ждавшие очереди отправиться в духовку, выглядели не менее живописно, чем экспонаты нынешнего эротического музея. Про Сталина за этим делом мы как-то и забыли.

Но не забыл Сима. Закончив колхозницу, он тихонько занялся лепкой непосредственно Сталина. Он изображал его в гробу – в кителе и галифе, руки скрещены на груди, голова и босые ступни непропорционально большие – в духе готической скульптуры погребения Христа. Для гроба использовал нашу старую закопчённую громадную гусятницу.

Сначала мы перетрусили. За подобное кощунство могли всем и четвертак припаять. Ходили рассказы о бедолаге, на которого донесли, что он в туалете воспользовался (конечно, не заметив) газетой с

портретом Сталина и представили вещественное доказательство. Ему вклеили червонец. А другому, который селёдку в Сталина завернул – только три года.

Но Сталин уже был мёртв. Какой-то бес вселился в нас. Какая-то удаль сибирская. Была-небыла. Да и мы уже крепко навеселе были.

И мы начали обряжать Сталина.

По краю живописно обложил труп яичной скорлупой. Заглазировали лицо, руки и пятки яичным желтком.

Сталина запекли вне очереди, оставив на время непотребные композиции классовой дружбы. После духовки Сталин подрумянился и выглядел как живой, только в масштабе – где-то один к четырём. Декорировали его с энтузиазмом. Губы ярко подкрасили помадой, усы – углём, в глазницы вставили кусочки яичной скорлупы, а в серёдку – тлеющие угольки. Кто-то воткнул ему в руки ножик и зажжённую новогоднюю свечечку.

Горячую гусятницу водрузили в центре стола. Вокруг поставили почётным караулом ряд бутылок – на горлышках пустые консервные банки. В ногах зажгли две свечи. В головах подпёрли крышку гусятницы, выложенную лавровыми листьями и лентами квашеной капусты. Свет потушили. Глаза вождя слегка дымились, нож блестел. По репродуктору звучала кладбищенская музыка. Все молча стали вокруг. Ощущение было жутчайшее. У меня волосы поднялись дыбом. Запели.

Сначала затянули похоронный марш Шопена – «Та-там та-та-та тра та-та та та-та! Т-а-а-м та-ра-ра ра ра-ра..». Я в такт бухал в поднос. Потом молча выпили, закусили остатками колхозницы и запели медленно – «Вставай проклятым заклеимённый – весь мир голодных и рабов» и «Наверх вы товарищи все по местам, последний парад наступает...». Получилось очень торжественно. К Сталину приступить так и не решились. Выпили ещё раз и вдруг запели обязательную для любого иркутского застолья – «Зять на тёще капусту возил, молодую жену в упряжке водил. Калинка малинка моя» с присвистом и гиканьем.

Откуда была эта отчаянная бравада, когда ещё вчера сажали просто за анекдот? Накопилось за много лет «голодных и рабов» и выплеснулось на благодатной сибирской почве. Нутром мы чувствовали, что последний парад наступит. Что такого уже больше не будет. Не может быть!

Тут мы услышали громкие удары в дверь, видимо колотили уже давно. Решили, что пришёл кто-то запоздалый, и побежали открывать.

На пороге стоял участковый.

Небольшого роста в белом полушубке, с неизменной офицерской планшеткой. Не ожидая приглашения, стряхнув снег, он прошёл переднюю, вошёл в комнату и огляделся.

– Че за песни, когда траур по товарищу Сталину? На улице слышать. – Он втянул носом аромат жаренного, – Че пируете, откуда такие продукты? – Он был немного под мухой. Мы молча соображали – что делать.

– Кто будет хозяин? Кто присутствует? Фамилии? – Он сел за стол, раскрыл планшетку и вытащил формуляр с напечатанным сверху – «ПРОТОКОЛ». Запахло предсказанным четвертаком! В душах у нас заглохло – сюжет песни о вешем Олеге продолжался: «Из мёртвой главы гробовая змея шипя, между тем, выползала ...». И тут взгляд его остановился на гусятнице. Вытянув шею, встав, он долго разглядывал всю композицию, видно не веря глазам.

– Это кто? Вы че? Кто разрешил? Это че, секта такая? – Мы замерли.

Коля, в чёрном костюме и при галстукe, подошёл и вальяжно взял его под руку. Участковый от изумления не сопротивлялся.

– Видите ли, – медленно, по-академически начал втолковывать он, – мы возрождаем здесь доисторические народные, исконно-славянские традиции – тризну. Изображение великого вождя торжественно поедается для того, что бы он вечно жил с нами, внутри нас. Как великий Ленин – вечно-живой в мавзолее. Вы что, имеете что-нибудь против этого?

– Я, лично, не против, – привычно участковый, – а где указание?

– Да вы что, газет не читаете?! – Коля поднял голос до крика, – Не слышали ничего о борьбе с космополитизмом, о возрождении древних народных обрядов и превращении их в коммунистические?!

– Я газеты читаю, но это, – он указал пальцем на Сталина, – не читал. Я, правда, в отпуск в деревню ездил.

– А вы сначала почитайте!

Участковый растерялся. Действительно, в газетах постоянно выдавался такой винегрет философии и идеологии. То об ужасах космополитизма, Вейсманизма-Менделизма-Морганизма, сионизма, генетики и кибернетики, то о пользе марксизма в языкознании, то о каких-то экономических проблемах социализма. Постоянно древние русские традиции превращались в новые коммунистические обряды. Постоянно в газетах кого-то костерили за незнание и непонимание Марксизма-Ленинизма и жестоко наказывали. Конечно, Коля привирал, приписывая доисторическим славянам такие ритуалы. Но это было очень,

очень в духе тогдашней политической риторики (например: сразу после смерти Сталина Эренбург в «Правде» писал – «...Простые люди живы, и в них жив Сталин», и никого это не смущало).

Было от чего участковому растеряться.

Тут включился Димка-лихач. Отрезав ещё горячую ногу товарища Сталина, со стаканом водки в руке он подступил к участковому и стал совать ароматное жареное ему под нос.

– Старшина, ты поешь, ты попробуй, ты пожуй, ведь голодный! И запей. – Димкин дар уговаривать был хорошо известен здешним девицам.

У голодного участкового, давно не нюхавшего запаха ароматной жареной яишни, собачьим блеском загорелись глаза. Не совладав с собой, он ухватил ногу, вцепился зубами, мгновенно отхватил кус, пережевал с ужасом на лице и откусил ещё. Димка скормил ему всю ногу, после чего участковый выпил залпом стакан водки. Все заорали – ура-а-а-а! Мигом Сталина растерзали на части, причём участковому щедро выделили ещё одну сталинскую ногу. Гусятница опустела. Стас Сапежинский (по прозвищу – пан Сапега, потомок ссыльных поляков) провозгласил с пафосом – «Спасибо великому товарищу Сталину». И все завопили – «Спасибо великому Сталину за яйца! Великий Сталин с нами! Сталин – вечно живой! Слава, слава нашему вождю и учителю!» Со Сталиным было покончено. Мы все стали Мавзолеями Сталина.

Участковый опустил на стул. Он облизывал губы и пытался осмыслить произошедшее. И надругательство, и славословие. Вещественное доказательство исчезло, и он оказался причастным к этому.

К этому времени поспела очередная горячая композиция. Её торжественно выставили на противне в середину стола. Мясистая колхозница, нагнувшись, жала серпом. Рабочий в экстазе с поднятым молотом примостился вплотную сзади. Творение полыхало всеми ароматами Востока и ядрёным сексом. Участковый выпучил от удивления глаза. Всем разлили. Яшка Розенберг, врач гинеколог поднял стакан:

– Эта штука, – он указал жестом Нерона, – как гениально сказал по другому поводу наш великий вождь товарищ Сталин, посильнее чем «Фауст» Гёте – любовь побеждает смерть! За нашу новую жизнь!

– Эта штука, – подхватила тост иркутская гречанка Аврора Метаксас, указывая пальчиком на рабочего – посильнее даже чем «Ромео и Джульетта» Шекспира! Любовь побеждает труд. За любовь!

Яшка со сноровкой опытного патологоанатома разрезал съедоб-

ный шедевр, раздав каждому по куску и щедро выделив участковому целиком пышные ягодицы колхозницы. Участковый не нашёл сил отказать.

Жор возобновился с новой силой. Участковый скинул полушубок и принялся притоптывать. На стол подали следующий символ непосредственной смычки рабочего и крестьянки, в котором партнёры находились уже в горизонтальном положении.

Жор и веселье продолжались до глубокой ночи. Все остались ночевать.

«О том, что было дальше, об этом промолчим», как поётся в старой оперетке.

Удивительно – я вплоть до XX съезда коммунистической партии СССР мистически ощущал останки товарища Сталина у себя в кишках. А после – как бы облегчился.

Борис Черепашенец

ЧЕРТОВА ПОЛЯНА

Я служил в дивизионном батальоне связи. Летом сорок четвертого года наша дивизия держала оборону на плацдарме левого берега реки Волхов.

Командир дивизии, полковник Борулава, с пухлым лоснящимся жиром лицом сластолюбца, был занят, по общему мнению, только удовлетворением своих прихотей. Его любимой поговоркой была такая: «Всех баб поиметь нельзя, но к этому стремиться надо». И потому в отношении всех молодых и смазливых женщин, прибывающих на службу в дивизию, было возрождено «феодалное» право первой ночи.

Когда в батальоне появилась новая радистка Тамара Братищева, худенькая, кареглазая девочка со слегка выющимися волосами, её сразу же отправили на «смотрины» к Борулаве.

Но она с таким презрением отвергла притязания полковника, гневно заявив, что не затем добровольно пошла служить в действующую армию, чтобы быть забавой пузатому старику. Комдив и вся его обслуга поначалу опешили. Борулава покраснел от гнева, но сдержался и нарочито ласково, тихо и медленно проговорил:

– Значит, я тебе кажусь старым и пузатым, так? Ну что ж... Будут тебе молодые и стройные, будут...

И рявкнул:

– На «Чёртову поляну»! И оттуда без моей команды не отпускать!

Участок обороны дивизии, прозванный «Чёртовой поляной», был покрыт мхом, сырая низина непрерывно простреливалась противником с ближней высоты. Огонь велся днем и ночью, к тому же еще и шестиствольными минометами. Их огонь был чудовищно плотным, а осколки мин разлетались под таким острым углом, что зачастую оставляли на земле бороздки. Горячую пищу роте, оборонявшей поляну, в ранцевых термосах доставляли ползком повара в предрассветную пору, когда огонь врага немного стихал. Но зачастую их убивали или ранили, и солдаты сутка-

ми питались размоченными ржаными сухарями и брикетами пшённного концентрата. Целесообразнее было бы отвести роту на пару сотен метров назад, на более удобное для обороны возвышенное место, – но уже действовал знаменитый сталинский 227-й приказ: «ни шагу назад», и никто из командования отвести роту на более удобную позицию не решался.

Вместе с солдатами у рации под огнем находилась и Тамара. Девочка страдала и от сырости, и от стыда при отправлении естественных надобностей, и от грязи. В таких условиях люди быстро вшивеют. Но самым главным был постоянный страх, который, как ей казалось, доведёт её до безумия.

Каждый день наглый щеголеватый адъютант Бериулавы повторял по радио предложение, но Братищева его с презрением отвергала. Каждые пять-семь дней, опять-таки в предраассветную пору, роту меняли, отправляя её в дивизионный тыл. Там солдат обильно кормили, давали отоспаться, меняли нательное белье, верхнюю одежду отправляли в вошебойку. Тамара же оставалась на «Чертовой поляне». Однако силы девочки были не беспредельны, и настал день, когда она сдалась. На рассвете адъютант притащил Тамару к полковнику, и тот, оглушив её стаканом спирта, тут же изнасиловал, грязную, вшивую.

Насытившись, Бериулава отдал её адъютанту: «Ну её к дьяволу, неумеху. Бестолковая какая-то, да и ляжки у нее худые, не люблю таких».

Последующие дни превратились для девочки в сплошной кошмар. После адъютанта она попала к ординарцу, затем настала очередь obsługi: поваров, парикмахера, солдат комендантского взвода – охраны полковника. Тамара потеряла, счет дням и ночам. Её брали по двое, по трое. И все время водка, спирт, коньяк, вино. В итоге за короткое время чистая и наивная девочка превратилась в штабную шлюху и алкоголичку. Вскоре она надоела, а может, появилась новая жертва, и вышвырнули её, как использованную тряпку.

В её землянку в штабе дивизии мог прийти кто угодно, когда угодно, и утешиться всего за стакан водки. Единственное, чего Братищева добилась, – её не посылали больше на передовую. Ужас от пережитого на «Чертовой поляне» забыть она не могла. Изменилась она и внешне. Лицо отекло и отливало синевой, глаза потускнели, волосы всегда были всклокочены, да и вся она раздалась, обабилась. Все звали её уже не Братищевой, а Блядищевой.

Был в дивизии мой земляк, командир миномётной батареи, капитан Павел Ощепков. Хотя я считал его стариком, ведь ему было уже за тридцать, мы дружили. Встретились как-то с ним в штабе, обменялись новостями, вспомнили Москву. Проходя мимо Таминой землянки, Павел сказал:

– Подожди меня здесь. Надо конец смочить. Выйдя минут через двадцать, хмыкнул:

– А ты чего не идешь? Тамарка работает как машина, я ей целую бутылку оставил, и за тебя тоже.

Меня передернуло от гадливости, словно наступил босой ногой на жидкую коровью лепешку.

– Нет уж, как-нибудь потерплю.

– Ну и хрен с тобой, как хочешь.

И протянув руку, сказал:

– Прощай. Завтра с утра батарея работать будет.

Вы уж, связисты, не подведите. Вечно у вас что-то отказывает.

– Не подведем, будь уверен. Не нравится мне твоё заупокойное настроение.

На следующий день, управляя с переднего края огнём своей батареи, Паша Ощепков был убит наповал.

Как-то придя в штаб, я увидел людей у Тамариной землянки. Часовые никого не подпускали. Заметив пробежавшего знакомого, спросил у него, в чем дело.

– Да пустяки, Тамарка повесилась! – на ходу прокричал он.

Мой ординарец, хитрец и насмешник Исай Гумеров сказал:

– А домой, наверно, отпишут, что погибла, защищая честь, достоинство и независимость нашей социалистической Родины!

РОМНЫ

Война окончилась. Сапёр, капитан Семен Гендлин, блондинистый еврей, счастливо отделался – всего три не очень тяжёлых ранения. Как и перед миллионами его сверстников, встал вопрос: что делать дальше?

На фронт он попал сразу после десятилетки и теперь страстно хотел учиться. Поэтому решил поступить в военно-инженерную академию. В штабе Киевского военного округа прошёл собеседование и ждал решения. Оно вскоре пришло – отказ. И это несмотря на его пять орденов, в том числе престижный орден Александра Невского.

Поняв, что в армии ему карьеры не сделать, Семен падал рапорт об увольнении в запас. В конце концов, он молод и здоров, и путь в институт ему не заказан. А пока его отправили в украинский городок Ромны, где был расквартирован отдельный корпусной сапёрный батальон, на должность начальника штаба.

Поначалу Семёну город понравился. Прошло два года после освобо-

ждения от оккупации, особых разрушений в городе не было, и отличался он какой-то патриархальностью и чистотой.

Прибыв в часть, Семён решил, по примеру других офицеров, поселиться на частной квартире. Казарменное жильё ему порядком опротивело.

Однако найти кров оказалось делом нелёгким. Хозяева ни деньгами, ни продуктами не интересовались. Главной валютой было для них топливо: уголь или дрова, а достать это молодому офицеру было нелегко.

И поэтому жил Семён в общей солдатской казарме, и в углу, отгородившись от остальных только простыней.

Однажды осенним вечером он увидел на здании кинотеатра афишу фильма «Антон Иванович сердится». Семён вспомнил этот добрый и наивный довоенный фильм, образы, созданные Целиковской, Кадочниковым, Мартинсоном, Коноваловым, прекрасную музыку в картине, предвоенное время, когда жизнь казалась безоблачной и вечной.

Зал был заполнен молодыми, сытыми парнями и девушками. Все пиджаки молодых людей, кофты и платки, обтягивающие высокие груди девушек, были обсыпаны лузгой. Парни, весело смеясь, щупали своих соседок, те притворно взвизгивали и лениво отбивались от ухаёров.

Фильм начался, но стоило появиться на экране героям, которых играли Короткевич и Бонди, актеры с семитской внешностью, как зал начал вопить:

– Жиды, жиды, жиды!

Особенно пронзительно визжали девушки:

– Жи... жи... жи-ды...!

В экран летели огрызки яблок, пустые бутылки и все, что было в карманах у зрителей.

Потрясенный Семён встал и, наступая на ноги соседей, выбежал из зала: да что же это такое? Всю войну комиссары талдычили ему о морально-политическом единстве советского народа, о нерушимой дружбе... Впервые он столкнулся с такой ненавистью к его несчастному народу. Внешне привлекательный город уже не казался ему милым и симпатичным.

Вскоре капитан Гендлин нашёл квартиру. Домик находился почти на окраине города. В нем обитали женщина лет 40-45-ти и её двадцатилетняя дочь с маленьким ребенком.

Квартира поразила Семёна своим необыкновенным, в отличие от остальных убранством: хорошая мебель, красивый абажур в одной комнате, расписной фарфоровый фонарь в другой, льняная скатерть на обеденном столе, книжный шкаф с книгами в хороших переплётах. На выкрашенных масляными красками стенах темнели прямоугольники от снятых фотографий.

Выяснилось, что хозяин ушёл с немцами, а отец маленького ребенка –

немец, который служил в городской комендатуре. Хозяйская дочь показала его фотографию. Это был уже немолодой, тщедушный лысеющий человек в очках. Младенец оказался слабеньким и болезненным. Несмотря на то, что ему было уже более гола, он только-только начал поднимать головку. Он почти непрерывно хныкал тоненьким голоском. Семён получил отдельную комнату, и блаженству его не было предела.

Вскоре капитан обнаружил ещё одну комнатенку в доме, метров десяти – двенадцати. Она была завалена всяким хламом. Валялось там почему-то старое зубоврачебное кресло.

– Что это за комната? – поинтересовался у хозяйки Семён.

– Да тут евреи до войны жили.

– Где же они теперь? – с надеждой спросил Семён

– Где, где... Да убили их немцы, как и всех жидов.

Гендин обнаружил на дверях квартиры мезузу, а потом с изумлением заметил, что хозяйская дочь кутает, выходя на улицу, своего ребёнка в талес, ритуальную одежду, применяемую только во время молитвы.

Он немедленно покинул это недоброе пристанище и вернулся в казарму.

Вскоре Гендлину удалось найти комнату в домике, где жила украинская бездетная пожилая чета. Хозяева оказались баптистами, и Семён попал в атмосферу такой доброты и благородства простых людей, что, пожалуй, впервые в жизни понял значение слова «благодать». В обществе этих людей капитан отогрел душу и смог впервые за многие годы сполна насладиться покоем.

Как-то Семён рассказал старикам историю своих поисков квартиры в городе.

– Да вы, Семён Михайлович, имели несчастье поселиться у Кобылянских! – воскликнул хозяин Василий Никитович. И он поведал историю этого семейства. Оказалось, что до войны в доме жил еврей, зубной врач, со своей женой и двенадцатилетней дочерью. В маленькой комнате жили Кобыляnsкие. На свою беду, врач иногда пользовал больных с сильной зубной болью у себя дома, а не только в поликлинике. Кто-то из доброхотов донёс на него, и перед самой войной врача арестовали, отправили в областной центр, город Сумы. Перед приходом немцев всех обитателей сумской тюрьмы, и правых, и виноватых, наши доблестные органы расстреляли.

Когда Красная Армия оставила Ромны, а немцы еще не вступили в город, Кобылянский топором зарубил несчастную женщину и её дочь, тут же во дворе их и закопал. Он рьяно служил оккупантам и при уходе фашистов из города бежал на запад, опасаясь возмездия.

Семён переспросил:

– Пойдите, пойдите, Василий Никитович, живых людей зарубил топором!? Зарубил? Да вы что-то путаете!..

– Нет, дорогой, всё так и было. Многие в городе слышали крики несчастной женщины.

– И никто не заступился... А я с ними одной крови, – печально сказал Семён.

– Вы тоже еврей, Семён Михайлович? – удивился хозяин и горестно покачал головой. – Бедный вы, бедный мой, как же жить вам после всего, что произошло с вашим народом?

А поздно вечером хозяин рассказал Семёну о трагедии роменских евреев. Жарким утром согнали их в чадный скверик в центре города, напротив горсовета. Там их трое суток на солнцепёке держали без еды и питья. То ли ров не успели вырыть, то ли расстрельная команда была занята в другом месте.

Город небольшой, все друг друга знали, мимо проходили сослуживцы, знакомые, соседи.

– Воды, ради Бога воды! – кричали им евреи – воды!

Но горожане прохаживались мимо несчастных и с любопытством смотрели на них, как на зверей в зоопарке.

Потрясённый услышанным, капитан, накинув шинель, выбежал на улицу. Над городом стояла лунная, ветреная ночь. Тишину нарушал только собачий лай. Как по эстафете одна собака начинала лаять па луну, затем подхватывала лай другая, третья, и вот уже над Ромнами звучал многоголосый пёсий хор.

Гендлин машинально вышел к пустынному скверу, где когда-то евреи ожидали своей участи. Тени от подросших кустов и деревьев металась на осеннем ветру. Они казались Семёну теньями тех замученных здесь людей, которые так же металась от голода, жажды и страха. Он отчетливо представил себе, какую смертельную тоску и какой ужас испытывали они в последние часы своей жизни.

Ноги произвольно привели его к домику Кобылянских. Семён подошёл к невысокой изгороди. Лунный свет освещал маленький дворик, поросший увядшей лебедой и бурьяном. Как наяву, он представил себе мать, которая металась по дворику, звала на помощь, кричала, пытаясь спасти свою дочь от убийцы. Но никто не отозвался.

Из дома доносился надрывный плач больного ребёнка. «Может быть, есть высшая справедливость в том, что грех деда сказался на судьбе его внука», – думал Семён.

Пошёл дождь, а капитан стоял с непокрытой головой, не в силах покинуть проклятое место. И только когда ручейки воды начали литься за

ворот гимнастёрки, Семён очнулся. Ночь подходила к концу, надо было возвращаться домой, скоро утро, скоро на службу. И хотя Гендлин открыл дверь дома своим ключом, чутко спящая хозяйка услышала постояльца и в длинной белой ночной рубаше, с пуховым платком на плечах, вышла навстречу.

Увидев совершенно мокрое лицо капитана, она решила, что он плачет и, схватив полотенце висящее в сенях, подошла к нему и по-матерински нежно вытерла его руки и лицо. При этом женщина поцеловала Семена в лоб и сказала:

– Ну, голубчик, ничего. Бог сохранил вас, значит, корень есть. Бог даст, возродится ваш народ. Он не может исчезнуть. Всё-таки сына Божьего евреи родили. Бог забыть этого не должен.

Через неделю пришел приказ из штаба округа об увольнении в запас Семёна Гендлина.

Семён тотчас же собрался, положил в вещевой мешок свои нехитрые пожитки, тепло попрощался с Василием Никитовичем и его женой.

В части командир батальона сказал Семёну:

– Подожди до утра, капитан. Куда ты, на ночь глядя? Завтра и проводим тебя, как полагается. Надо же, в конце концов, выпить на посошок!

Но Семён ждать не стал. – Нет, нет, немедленно прочь от этого места, – думал он. Закинув за плечи мешок, под проливным дождём зашагал к станции. Капли дождя стучали по козырьку фуражки, как бы восклицая:

Жи-ды! Жи-ды! Жи-ды!

Леонид Усач

ВЫПЬЕМ ЗА СТАЛИНА...

Хорошо помню этот день, 9 мая 1945 года в Берлине. С утра небо хмурилось, нехотя отступая перед девятым летним днем (в Германии май считается летним месяцем). У неизвестного берлинского, расположенного в центре города причала на реке Шпрее, стояли аккуратно пришвартованные наши бронекатера. Красивые, сине-серые, строгие, скромные и вместе с тем воинственные.

«Побудку» еще не играли, но кое-где на палубах появились матросы без тельняшек с зубными щетками и вразвалочку шли на корму умываться, поскольку бронекатера были пришвартованы носами. По морской традиции моряки поглядывали на горизонт, почти автоматически определяя направление, скорость ветра и, успокоившись за грядущий день, приступали к утреннему туалету.

Потом труба заиграна «подъем» и несколько десятков матросов и старшин, как по тревоге, выскочили на палубу из душных кубриков и без команды, но одновременно стали выполнять упражнения физзарядки. Это происходит ежедневно на всех флотах, в любое время года вот уже много веков.

Мы знали, что война окончена. Знали раньше других, так как были рядом со ставкой маршала Жукова. А слухи просачиваются из любого, даже маршальского штаба, особенно такие радостные. Было известно, что скоро передадут Приказ по радио во все подразделения всех родов войск и армий стран-союзников.

После завтрака стали готовиться к празднику: драили все, что блестело, подкрашивали борта, мыли палубу, готовили флаги расцвечивания, проверяли работу наших радиостанций, поскольку получили разрешение всем катерам после Приказа транслировать на причал, фактически на улицы Берлина, музыку и песни с советских пластинок, которые мы находили в покинутых немецких окопах и казармах. Тут были и старинные русские песни, и городские романсы, и марши духовых оркестров, и, о ужас, даже

советские партийные песни. Видимо, немцы слушали эти пластинки, не понимая слов, довольствуясь только мелодиями.

Мы с Сережей Шадриним – радисты – каждый на своем катере несколько раз проверили трансляцию на чистоту звука и громкость. Сережа даже ухитрился подсоединить к проигрывателю микрофон от пехотной радиостанции. Это он сделал для того, чтобы можно было объявлять названия песен и имена артистов. И, как сказал замполит Дрынов, «показать немцам спую умственность».

Познакомились мы с Сережей в Пинском флотском полужкипаже. Отсюда распределяли в разные подразделения матросов и старшин. Такой вроде бы перевалочный пункт. Нас с Сережей распределили в Отдельный особого назначения батальон морской пехоты. С тех пор мы не разлучались.

Особое назначение батальона заключалось в том, что его бросали в самые тяжелые и опасные бои, когда противник, закованный в броню, неся потери, как бы прирастал к земле и не двигался, отстаивая каждый метр какой-нибудь главенствующей высоты, взяв которую, наши войска могли бы двигаться вперед. В упорных боях батальон морской пехоты был непобедим. Иногда только он мог принудить противника к отступлению. Атака морской пехоты была не только действием военным, но и театрализованным, как это ни странно. Фашисты называли морскую пехоту «черными дьяволами» или «полосатой смертью». И для этого были все основания.

Перед атакой матросы снимали форменки (верхние рубашки) и оставались в полосатых тельняшках и туго натянутых, скрывающих почти весь лоб бескозырках. Надрезанные ременные пряжки блестели, сверкали как золото высокой пробы. Черные брюки-клёш парусили на ветру во время бега.

А луженые глотки матросов без устали кричали «ура». Все это создавало жуткую картину надвигающейся неотвратимой катастрофы, при которой спасением могло быть только бегство.

Так наш батальон действовал на суше. А когда попадалась по пути река, мы быстро приспособливали брошенные немецкие самоходные баржи, паромы, теплоходы под наши военные нужды. Ставили на палубы пулеметы, минометы, катюши и плыли на Запад, помогая нашим частям своим огнем. Подойдя к Одеру, мы за несколько дней создали боевую, сильно вооруженную бригаду речных бронекатеров. И принимали участие в штурме Берлина.

Вот в таком особом батальоне мы и служили. Сережа Шадрин, высокий – метр восемьдесят два, сероглазый, на вид тяжеловатый, но ловкий, верткий. В свои семнадцать лет Сережа умел делать все – от починки сапог до игры на баяне, гитаре и балалайке. Природа наградила его сердцем широким, добрым, чужая людская беда становилась и его бедой. И не только людская.

Никогда не забуду, как Сережа подобрал в Польше где-то в лесу бесхозного маленького теленка с перебитыми ногами и трое суток с полной солдатской выкладкой (автомат с дисками, саперная лопатка, скатка шинели и т.п.) таскал его на себе, спал с ним в землянке второго взвода, делал ему частые перевязки, кормил его, поставив на полное воинское довольствие в наш второй взвод. Мало этого, он привязал к простреленным ногам теленка дощечки и учил его ходить с этими протезами. Перед сном, укладывая теленка спать на брошенную на пол шинель рассказывал ему сказки, тем самым убаюкивая весь взвод. Потом подарил теленка пожилому поляку, взял с него расписку и предупредил, что сразу же после окончания войны приедет убедиться, что теленок жив и имеет потомство.

Разные мы были люди с Сережкой, начиная с роста – он стоял на правом фланге самым первым, а я на левом самым последним, – всего-то сто шестьдесят сантиметров.

Но дружили, как дружат только на фронте, где дружба – дело святое.

Мы вместе писали письма домой, ибо девушек у нас не было по молодости лет. Вместе ходили в наряды, вместе, не стесняясь, плакали над могилами погибших товарищей, вместе любили смотреть в ночное небо, вместе мечтали о конце войны, о победе.

И она пришла, долгожданная, пришла милая, пришла желанная.

Звучат слова Приказа... Мы его транслируем черен наши динамики на всю набережную. И немцы, которых после боев в Берлине было еще мало, останавливались и слушали русскую речь. Когда Юрий Левитан дочитал последние слова Приказа: «Верховный Главнокомандующий, Генералиссимус Советского Союза Сталин», мы уже заряжали трассирующими патронами автоматы, карабины, пистолеты и ракетницы.

И началось... Думаю, что тогда салют из всех видов табельного оружия продолжался около часа. Потом одновременно, как по приказу, все смолкло. Повисла тишина, которая несведущему человеку могла показаться опасной. Но мы знали, в чем дело. В матросских кубриках и офицерских каютах в полной тишине открывались бутылки со спиртным всех видов, названий и стран-изготовителей. Кто что припас к этому Дню, пройдя по дорогам Европы, тот то и выставлял. В руках матросов замелькали бутылки русской водки, армянского коньяка, немецкого корна, французского шампанского, итальянского ликера, шотландского виски и крепчайшего рома черт знает какого происхождения. На металлических привинченных столах было крупно нарезано немецкое свиное сало, огурцы (в это время уже поспевают в парниках), разодранные вареные куры, сладкий перец, селедка и открытые консервные банки шпротов, сардин и конечно «Бычки в томате», прошедшие путь от Владивостока до Берлина. Столы ло-

мились от европейских яств и напитков. Победители гуляли со всей широтой российской многонациональной души, В полной тишине, как перед атакой, на выдохе был сделан первый залп – выпита первая кружка теперь уже не боевых сто граммов, а мирных двухсот...

Потом, чтобы не терять темпа, выпили еще, кто что хотел, и только теперь заскрежетали алюминиевые ложки по металлу – начали закусывать. Кок по кличке «люба моя», родом из Молдавии, принес с камбуза пирожки с мясом, испеченные специально как штучная закуска. Потом опять металл о металл и снова тишина...

После этого наступил наш час, час радистов. Поочередно с каждого катера через громкоговорители зазвучали родные песни. На причале, а фактически на тротуаре, начались танцы. Сначала робко и стеснительно матросы танцевали друг с другом, а потом все как-то разогрелось, развязалось, потеплело, и теперь танцующие, скажем вальс, вынуждены были выходить на проезжую часть, благо движение транспорта в Берлине еще не было восстановлено. Потом стали подходить и немецкие любители потанцевать и пообщаться. Ведь уже девять дней в городе было сравнительно тихо. Люди стали выходить на улицы. Начиналась новая мирная жизнь.

Уже полночь, в самый разгар гуляния, с катера Сережи прозвучал всем нам знакомый его голос: Внимание, внимание! Послушайте песню о Сталине. Солист Сергей Шадрин. Зашипела пластинка, и большой хор Краснознаменного ансамбля спел первый куплет. Дальше под аккомпанемент ансамбля, точно вступив, запел в микрофон Серёжа. Запел отлично, и ребята слушали с гордостью за собственного солиста, нашего матросского певца. Артист и все! Только почему-то слова песни перевирали. Например, в песне поется:

«Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем!»

А Сережа почему-то спел:

– Выпьем за Родину, выпьем... за Шадрина, выпьем и снова нальем!

И повторял:

– Выпьем за Шадрина, выпьем и снова нальем!..

Сережа спел еще раз эту песню, вроде на «бнс», и сел на фальшбортик покурить, тем самым уступив место музыки с других катеров. Снова начались танцы на берлинской улице.

Потом, уже под утро, пришли два лейтенанта. Мы знали их, знали, где они работают. Они попросили, именно попросили прекратить музыку из-за позднего часа. Мы послушно выключили аппаратуру. А они ушли и как-то по-дружески прихватили с собой нашего Сережу Шадрина. Стало грустно в День Победы... После этого вечера я больше никогда не видел Сережу.

Его мама приезжала ко мне в Москву. Мы вместе ходили по разным кабинетам и инстанциям, но Сережу Шадрина, ни живого, ни мертвого мы так и не нашли...

ЛЕНИНЦЫ

Из воспоминаний актера

Выступление на правительственной даче члена Политбюро или Генерального секретаря в «милые» времена застоя было для артиста напряжением всех сил и стоило немало здоровья. А сколько страха, сколько унижения... Судите сами. Месяца за 2–3 в разных инстанциях Министерства культуры начиналось составление и утверждение списка артистов, которые будут выступать в правительственном концерте. Список кандидатур неспешно обсуждался в тихих кабинетах и, наконец, подписывался каким-нибудь высоким руководителем данного ведомства. Потом список попадал в городской или областной, комитет партии. Там список утверждался. А дальше шла проверка репертуара. Так сказать, с точки зрения партийной идеологии.

Когда же бывал пройден и этот этап, все материалы с улицы Куйбышева (ныне Ильинка) переезжали на Лубянку. Здесь шла проверка текстов, музыки, а также самих авторов этих произведений и исполнителей. Я знаю случай, когда зоркие очи проглядели, что автор стихов популярной песенки эмигрировал. За этот «вопиющий» случай получил взыскание и понижение в должности немолодой генерал.

Но самая основная проверка в этой предпоследней инстанции была проверка анкетная. Здесь проверяли всю подноготную артиста, как говорится, до девятого колена. Проверяли одного и того же артиста по нескольку раз. У меня были сложности в начале моей карьеры, когда вдруг выяснилось, что мой отец «враг народа», якобы работавший на разведку княжества Монако. Отец давно был реабилитирован посмертно, но еще много времени вызывал сомнения у бдительных служб.

Так вот, когда все и вся проверено, идет инструктаж, как вести себя на даче: что говорить, что не говорить, куда можно идти, куда нельзя, куда смотреть, куда ни в коем случае... Запретов было так много, что мы, бывалые, в этой обстановке просто подходили к нашим сопровождающим в штатском, которых мы уже знали в лицо и по именам, и спрашивали, скажем так: «Толя, проводи меня помочиться» или «Как бы водички попить?» Хочу особо отметить, что была еще одна упреждающая акция. За

сутки до концерта у артистов забирали и увозили концертные костюмы (пиджак, брюки, рубашку, галстук, обувь). В недоумении я однажды спросил: «Зачем это делается?» Ответ был прям и логичен: «Чтобы вы на Дачу правительства не привозили тараканов, клопов и других насекомых...» Костюмы, видимо, дезинфицировали. Короче говоря, унижительная подготовка к концерту шла несколько месяцев, и когда, наконец, наступало время выступления, уже не хотелось ничего делать – все перегорало во время угрожающих проверок.

Но вот вопрос, что давали эти концерты самим артистам? Зачем нужна была вся эта канитель? Почему стремились выступить в правительственном концерте? Великолепный эстрадный фельетонист, собиратель уникальной коллекции старинных книг Николай Павлович Смирнов-Сокольский однажды отказался выступать в таком концерте. Его спросили, почему? Смирнов-Сокольский ответил: «Прибавиться от этого концерта – мне ничего не прибавится, а убавиться потом может».

В чем же тут дело? А все очень просто. Все эти инстанции, угрожающие, проверяющие, предостерегающие и управляющие, были тесно связаны между собой. И стоило только один раз выступить, по их мнению, неудачно, как по всем направлениям шли санкции. Тихо выкидывали из очереди на квартиру, не давали вне очереди купить машину, отправляли на гастроли в отдаленные места нашей необъятной страны, запрещали выступления в Москве. Все это делалось келейно, по телефону, не оставляя никаких документов расправы.

Был, конечно, и другой вариант – артист понравился. Тут уж только успевай собирать лавры. Снова тебя приглашают в другой правительственный концерт, отправляют в заграникомандировку, в хорошую капстрану, продвигают вопрос жилья, путевку в лучший санаторий и так далее... В те приснопамятные времена унижались за эти блага все – от разнорабочего до министра. И только небольшая кучка партийных главарей – паханов – была спокойна за свои привилегии.

Но все это прелюда. Уникальный, потрясающий случай впереди. И так, август 1971 года, концерт на даче Председателя президиума Верховного Совета Николая Викторовича Подгорного. Состав артистов очень хорош – профессионалы, любимцы публики. Два популярных певца, чтец, юморист, балетная пара, иллюзионист, балалаечник. В маленьком, человек на 40-50, шикарном, обитом кожей зрительном зале, зрителей человек семь-восемь – Сам и родственники Самого: бабушки в сарафанах и дедушки в сандалиях на босу ногу.

Кроме всего прочего, в концерте есть сцена из спектакля МХАТ «Кремлевские куранты» по пьесе Н. Погодина, где Ленин беседует с ев-

реем-часовщиком. Роль Ленина исполняет уникальный актер, народный артист СССР, лауреат сталинских премий Алексей Николаевич Грибов. Роль часовщика – не менее великолепный актер, народный артист СССР Борис Яковлевич Петкер. Многие помнят эту сцену. Ленин: «Надо дать жизнь кремлевским курантам... Пусть они отсчитывают новое время новой России... Это архиважно!» Часовщик: «Я постараюсь сделать, господин Ленин...». Сцена кончается полной договоренностью и взаимопониманием. В зале аплодируют, значит все в порядке.

После окончания концерта, как всегда, артистов приглашают к столу. Но не за стол хозяина, а за отдельный, где-нибудь в другом зальчике. На столе все, что можно себе представить в то не совсем сытое время: от лососины и разноцветной икры до запеченных яблок и нарезанных ананасов. Водки, коньяки, вина. Все в неограниченном количестве.

Большая, подавляющая часть артистов в этом застолье спиртное не употребляла, поскольку почти всегда после банкета устраивался еще, так сказать, добавочный концерт типа капустника. Хозяева дружески беседуют с артистами, заказывают свои любимые песни, танцы, интересуются, как делаются фокусы, а артисты рассказывают, исполняют заказы. О фокусах разговор отдельный. Очень любил фокусы Леонид Ильич Брежнев. На моих глазах в санатории «Барвиха» Брежнев зазвал Арутюна Акопяна, главного фокусника, к себе в апартаменты и почти два часа выпытывал у него, как платочек то появляется, то исчезает в бумажном кулечке. За это Арутюну Акопяну, первому из эстрадных фокусников, было присвоено звание народного артиста Советского Союза. За фокусы. Вот и получилось: народный артист СССР Аркадий Райкин и народный артист СССР Арутюн Акопян...

Но вернемся к нашему концерту на даче Подгорного, вернее, ко второй его части. Именно во второй части Подгорный предложил артистам МХАТ Грибову и Петкеру сыграть другую сцену из спектакля «Кремлевские куранты». Сцену беседы Ленина с американским писателем Гербертом Уэллсом. Артисты согласились, тем более, что Петкер когда-то репетировал роль Уэллса. Пошептавшись, что-то обговорив, эти два великих актера начали играть всем известную в то время сцену.

Приехавший из Америки писатель говорит, что видит Россию во мгле... А Ленин, наоборот, видит небывалый рассвет страны: «Приезжайте к нам, батенька мой, через двадцать лет...» Что было в стране через двадцать лет, мы видели в 37-м, 38-м и во всех последующих годах...

Грибов играет в портретном гриме Ленина, а Петкер, если мне не изменяет память, – сняв бородку и парик, тем самым из еврея-часовщика превратившись в дородного американца. Но ведь во время нашего ужина, в перерыве между официальным и «капустным» концертом

Алексей Николаевич Грибов выпил несколько рюмочек великолепной «Посольской» водочки и играет Ленина легко, свободно, на подъеме.

Но что это? В середине сцены Грибов в образе вождя революции дважды строго посмотрел в зал. За всем этим мы наблюдаем из-за кулис. И видим, что хозяин дачи в полный голос разговаривает с каким-то своим родственником. Причем явно на бытовую тему. Слышатся слова: чайк, варенье, мед... Вот тут и дали себя знать мхатовская привычка играть в идеальной тишине и выпитая Грибовым водочка во время ужина.

Грибов доиграл сцену до конца, посмотрел в зал и громко, четко выговаривая слова сказал:– Цыц!!! Тихо! С вами же Ленин говорит! Вы же ленинцы!

И ушел за кулисы. В другую сторону убежал побледневший Петкер. На сцене и в зале воцарилась зловещая тишина. Артисты за кулисами оцепенели – такого не было никогда. Охрана вся напряглась и растерянно ждала приказа. Сам хозяин выпучил глаза, открыл рот, сжал кулаки и с сипом, молча, хватал воздух. Угрожающая тишина висела несколько секунд. Потом все задвигалось. Закрыли занавес, всех артистов согнали в гримерную комнату, потом посадили в автобус и быстро увезли с территории дачи. В автобусе с каждого взяли подписку «О неразглашении» (были такие подписки).

Прошло несколько месяцев. Я приехал на съемку кинофильма «Сын», где я играл роль артиста Канарейкина. В этом же фильме снимался Алексей Николаевич Грибов. Место съемки – у старого цирка на Цветном бульваре. Ночь. Две пожарные машины, пуская струи воды вверх, делают проливной дождь. Прохладно. Сняли два-три дубля. Алексей Николаевич устал и продрог. Сделали перерыв. Мы отдыхали на служебном входе в цирк. Выпили заранее приготовленную фляжку водки. Грибов выпил, посмотрел на меня и спросил:

– Слушай, Леня, сильно я наворотил тогда на даче у Подгорного?

– Ничего вы не наворотили. Сказали ему, что он хоть и считает себя ленинцем, а все равно хам. А он, видать, обиделся. Вот и скандал!

– Меня из-за этого в театре сняли с роли Ленина и еще кое-что отняли. Короче говоря, наказали меня, старика, за правду...

– Не горюйте, Алексей Николаевич, главное не отняли – любовь зрителей и доброе имя...

И тут Алексей Николаевич сказал фразу, которая стала завершающей точкой этой редкой и непростой истории:

– Да, конечно, никакие они не ленинцы. Если бы были ленинцы, меня бы давно расстреляли...

Josef Brodsky

AN DIE BÜSTE DES TIBERIUS

Ich grüße dich Tiberius zwei Tausend Jahre später
Du warst doch auch verheiratet mit einer Hure?
Wir haben einiges gemeinsam und zudem
Liegt um uns deine Stadt – dein Rom
Mit seinem Lärm und den Ruinen.
Und ich, ein Durchschnittspilger,
Begrüße deine angestaubte Büste
In einer menschenleeren Galerie.
Ach Tiberius, du bist hier keine Dreißig,
Doch zeigen deine Züge
Schon Zeichen des Zerfalls.
Die Muskeln willfährig und schlaff
Verweisen in die unheilvolle Zukunft.
Dein Kopf ist gleichsam ein Orakel
Der grenzenlosen Macht.
Was unter diesem Kinn liegt das ist Rom.
Das sind Provinzen, Steuerpächter,
Das sind Kohorten. Und die Myriaden Babys,
Bei denen „Rauen“ unverdrossen lutschen.
Die Wonne liegt im Schlüssel jener Wölfin
Die schon Klein-Romulus und- Remus nährte.
(Es sind die gleichen Lippen,
Die ungereimte Worte
Im Unterfutter deiner Toga lallen.)
Und das Ergebnis ist diese Büste.

Ein Tag im Januar. Am Himmel viele Wolken
Wie zusätzlicher Marmor. Und der Tiber
Versucht der tristen Wirklichkeit zu fliehen.
Springbrunnen schießen hoch,
Woher wohl niemand schauet –

Nicht wohlwollend und auch nicht drohend.
Die Zeiten haben sich geändert. Den Wolf,
den toll gewordenen, kann niemand halten.
Ach, Tiberius, wer sind wir denn
Um dich zu richten? Du warst ein Ungeheuer.
Du warst gefühllos grad wie die Natur.
Und die Natur schuf solche
Sich immer schon als ihre Ebenbilder, nicht die Opfer.

Mit deinen knappen Dreißig und dem Gesicht aus Stein
Gleichst du einer natürlichen Maschine zum Töten.
Dich gegen Fälschungen der Nachzeit zu verteidigen
Ist so, wie einen Baum
Gegen das eigne Laub zu schützen.

Die leere Galerie am trüben Tage.
Das Fenster ist vom Winterlicht besabbert.
Der Straßenlärm. Und dann die Büste,
Die auf die Qualität des Raumes so gar nicht reagiert.
Es kann nicht sein, Tiberius, dass du mich nicht verstehst.
Ich floh vor meinem Schicksal. Hab mich verwandelt
In eine Insel mit Ruinen.
Ich prägte mein Profil
Mit Hilfe einer Lampe an der Wand.
Jedoch was das betrifft, was ich der Welt zu sagen habe,
Das interessiert doch keinen.
Geschweige in der Zukunft, nein, heute will es niemand wissen.
Das könnte Beschleunigung unsrer Geschichte sein,
Die Leider mit Erfolg die Folgen
Noch vor die Gründe stellt.
Dazu das Ganze im Vakuum –
Das gibt am Ende keine Wellen.
Und nun? Was soll ich tun? Soll ich bereuen?
Das Schicksal neu umkrepeln?
Vielleicht 'ne andre Karte ziehen?
Hat das denn Sinn?
Der atomare fall out
Berieselt uns genau so
Wie dich die eifrigen Chronisten.
Und wer kommt dann um uns zu richten?

Ein Stern? Ein Mond? Eine zur Bestie
Mehrfach mutierte ewige Termite?
Vielleicht. Doch wenn sie bei dem Bohren
Auf etwas Hartes in uns stößt, dann hält sie inne
Und sagt in ihrer Sprache der Trümmer und Ruinen
«Oh» sagt sie dann, «O-o
Das ist ja eine Büste! Eine Bu-bu-büste».

BRIEFE AN EINEN RÖMISCHEN FREUND

Heut ist es windig, die Wellen schwappen über.
Bald kommt der Herbst – hier wird sich alles ändern.
Wie rührend, Postum, denn mir ist dieser Wechsel lieber,
Als wenn die Freundin wechselt die Gewänder.

Nur sehr begrenzt ergötzt den Mann die Liebe eines Weibes.
Man an zu oft Ellenbogen oder Knie.
Doch um so mehr erfreut die Schönheit außer Leibes,
Wo kein Umarmen möglich ist und Treuebrüche nie.

* * *

Ich schick' dir, Postum, diese Bücher.
Was gibt's in Rom? Die alte Müh und Plackerei?
Und Cäsar? Der hat im Kopf nur seine Ränke, sicher.
Ja seine Ränke und die liebe Völlerei.

Ich sitz' allein. Im Garten brennt die Leuchte.
Sind alle weg, die Hohen, die Geringen.
Die Freundin, das Gesinde, alle Leute.
Ich hör nur in der Nacht Insekten singen.

* * *

Hier liegt ein Kaufmann aus Asien begraben. Gescheit
War er und tüchtig. Er hatte viel geschafft.
Noch mehr zu arbeiten war er bereit.
Doch hat das Fieber ihn hinweggerafft.

Daneben – ein Legionär, ein alter Held.
Er kämpfte viel im Westen wie im Osten.

Man hätt' ihn töten können hundertmal im Feld –
Er starb als Greis. Auch hier gibt's keine Regeln, Postum.

* * *

Ja, Postum, das ist wahr, Ein Huhn als Vogel gibt nichts her.
Mit Hühnerhirn ist man in Rom sehr schnell verloren.
Doch leichter ist's in der Provinz, am Meer,
Wenn man schon ist im großen Reich geboren.

Weit weg von Cäsar und von dem Getriebe.
Man muss nicht buckeln, sputen, bangen.
Du sagtest: Alle Statthalter sind Diebe.
Nun sind mir Diebe lieber als Tyrannen.

* * *

Ich bleib mit dir, Hetäre, bis der Regen
Vorbei ist, aber lass das Schachern weg.
Verlang kein Geld vom Leib, das über dir gelegen,
Sowie auch keine Schindeln von dem Dache, das dich deckt.

Du sagst, ich sei nicht dicht. Wo ist denn eine Pfütze hier?
Mit Pfützen gibt es aber einen Haken.
Wenn du noch einen Mann ergatterst, macht er dir,
Ich denke, Pfützen auf dein weißes Laken.

* * *

Die Hälfte unseres Lebens ist schon weg für immer.
Mir sagte just ein alter Sklave an der Bar:
Wenn man zurückblickt, sieht man lauter Trümmer.
Barbarisch der Gedanke, aber war.

Ich war spazieren, brachte Blumen für mein Zimmer,
Gab ihnen Wasser ihnen Wasser in die Kanne bis zum Rand.
Was ist mit Libyen? Wir kämpfen wohl noch immer?
Vielleicht war's aber auch ein andres Land.

* * *

Erinnerst du die Schwester des Statthalters? Sie war sehr dünn.
Du schiefst mit ihr. Sie hatte dicke Beine.

Sie ist jetzt, hört man, Opferpriesterin
Und lebt mit Göttern hier im innigen Vereine.

Besuch mich mal. Wir trinken etwas Wein
Und essen Brot dazu und Trauben ohne Kerne.

Ein Lager machen wir uns schön im Freien.
Und dann erzähle ich dir etwas über Sterne.

* * *

Ja, Postum, bald verlässt dein Freund die Welt.
Der Dichter wird die letzte Schuld begleichen.
Nimm unterm Kissen mein erspartes Geld.
Es ist nicht viel, doch fürs Begräbnis muss es reichen.

Fahr in die Vorstadt raus, zu den Hetären drüben.
Gib ihnen dieses Geld. Ich möchte meinen,
Wenn sie mich für Sesterzen konnten lieben,
So mögen sie mich für den gleichen Preis beweinen.

* * *

Das Grün des Lorbeers – angespannt zum Beben.
Ein kleines Fenster, eine Tür – weit offen.
Ein Stuhl – verlassen und ein leeres Bett daneben
Gardienen von der Mittagssonne warm getroffen.

Das Meer rauscht dumpf den Strand entlang.
Ein fremdes Schiff muss gegen Wind und Wellen ringen.
Und Plinius der Ältere sitzt ruhig auf der Bank.
Man hört in der Zypresse laut der Amseln singen

PIAZZA MATTÄE

I
Aus diesem Brunnen trank ich früher,
Jetzt zieh ich weiter
Und mache mir nicht einmal nass
Die kalten Kleider.
Mich wollte meine Freundin strafen,

Die Michelina, diese Frau.
Jetzt lebt sie auf dem Gut des Grafen
Und füttert seinen Pfau.

II

Der Graf war gar nicht mal so eklig,
War schlank und hatte Falten.
Er war gentlemalike cool und höflich –
Und ich war russisch ungehalten.
Denn was für einen Grafen
Nicht mehr als ein Versuch,
Das ist für einen Slawen
Verrat und Treuebruch.

III

Der Graf gewann in diesem Spiele.
In seiner Lüsternheit auf junges Blut
Vernaschte Michelina er wie Eis am Stiele,
Wie man's in seinen Kreisen tut.
Ich profitierte aber auch in dem obskuren
Und lächerlichen Hin und Her –
Ich kann jetzt sagen: „Auch in Rom gibt's Huren
Und seufzen wehmütig: „O Herr“

IV

Ein Ackersmann verwechselt Erde
Und seine karge Ernte nicht.
Wie ein Nomade seine Herde,
So hüte meine Niederlagen ich.
Was wäre Rom denn ohne Niederlagen?
Es wäre nichts als eine schöne Stadt
Mit Pantheon, Museen, Kolonnaden
Und andre Sehenswürdigkeiten satt.

V

So aber ist's ein Ort der Trauer.
Gebeugten Nackens sitze an der Bar ich.
Und die Gedanken auf der Lauer
Bei einer Tür der Via dei Fonari.
Ich überleg die nächste Zeile

Und schärfe meinen Blick.
Der wandert weit weg ohne Eile
Fast in die Jugend schon zurück.

VI

Ein Tag im Winter. Auf den Wegen
Gezackte Linien –
Die Tramontana zählt verlegen
Das Nadelwerk der Pinien.
Der Brunnen klirrt wie tausend Gläser
Im winterlichen Froste.
Es hüllt sich in die Toga Cäsar.
Daneben ein Apostel.

VII

Die kalte Luft ist klar geworden,
Die Augen scharf wie Teleskope,
Der Blick gerichtet in den Norden
Hinauf zum düsteren Europa.
Im Rauch und Nebel schmiedet's seinen Zaster
In Fleiß und Schweiß zerronnen.
Ich aber bin in Rom und basta.
Hier scheint die Sonne.

VIII

Ich bin das Stiefkind eines großen Landes,
Das mir die Fresse hat poliert.
Jetzt hat ein großes Land, ein anderes
Mit Stolz mich adoptiert.
Nun bin ich glücklich in der Wiege
Der Musen. Grazien und Rechte.
Hier wirkten Naso und Horaz und viele
Vom großen, mächtigen Geschlechte.

IX

Lasst uns mal ausklammern die Zeiten,
Das ewige Geschwafel.
Vielleicht schaut auch in meine Seiten,
So wie in deren Tafeln
Die schönste aller Musen,

Die heitere Euterpe.
Vorausgesetzt, dass mein Kyrillisch
Ihr Auge nicht verderbe.

X

Das Glück liegt nicht in dem Gerangel
An Thronen, am Regierungssessel.
Viel mehr darin: das Handgelenk behangen
Mit einem Schweizerkessel,
Den Rest des Lebens auszusetzen diesen Werten,
Der Bläue und der Terrakotta,
Die schon die großen Meister ehrten
Wie Boromini und Buonatotti.

XI

Ich dank den Parzen, Gottes Fügung,
Dir Freund-Verleger für das Geld.
Jetzt sitzt der Autor dieser Übung
Im Mittelpunkt der Welt.
Und mittendrin im Zifferblatte.
Um seine Nachkommen zu mahnen
Trinkt er hier seine Cioccolatta,
Aber bitte sehr, mit Sahne.

XII

Vom Hügel, wo zu andren Zeiten
Vergil und Tass geredet haben,
Da lass' ich meine Blicke gleiten –
Das Bild ist feierlich Erhaben.
Ich seh' nicht Häuser oder Gärten,
Nicht Dächer oder Kirchenspitzen –
Die Wölfin, die die Welt ernährte
Liegt da und sonnt sich ihre Zitzen.

XIII

Ich bin in ihrer Höhle heute.
Hier fühl' ich mich zu Haus,
Mein Mund gebleckt vor lauter Freude.
Er kennt sich mit Ruinen aus.

Solang sich drehen meine Räder,
Solang noch etwas Lebenssaft in mir,
Soll emsig kratzen meine Feder
Und schwärzen das Papier.

Aus dem Russischen übertragen von Melitta Neumann

Юзефа Варцог

* * *

Туман на лес стекает и ложится
К деревьям траурными павшими листьями,
А дождь бредет по лесу и кружится
С моими потаенными мечтами.

Как холоден и темен этот лес,
Когда сквозь шорох листьев раздается
Крик заблудившейся совы из-под небес —
Среди деревьев кто-то плачет и смеется.

И осень видится печальною порой,
В которую туман с дождем стекает и ложится,
Не очень страшную со временем игрой
Раз свет из окон в ней стремится раствориться.

Райнер Мария Рильке

* * *

О, их блаженство, в искупленье им,
И нам сердца по счастью озаряет,
Заплаканной улыбкою своим
К мишени стрелам путь определяет.

И с тяжестью земной не соглашаясь,
Пронзают притяжение земли,
Но общему закону поддаваясь,

Как сажены привычно залегли
В моря и горы по всему пространству.
Но ветер... но стремленье к постоянству.

ОДИНОЧЕСТВО

Одиночество сходно с дождем.
оно к вечеру тихо от моря ползет или днем
из далеких долин сквозь широкий проем
подползает пустого поблекшего неба.

Моросит и по крыше стучит, но отсрочку дает
пока утром проснутся опять переулки,
пока тело свою половину опять не найдет,
возвратившись из новой любовной прогулки,
и опять, погрузившись в любви закоулки,
снова в общей постели опять не заснет.

* * *

Иногда глухою ночью темной
поднимается случайно ветер сонный
и бредет ребенком по аллее
вдоль села в ночном густом елее.

Вдоль села он к озеру крадется,
ощущая далеко вокруг:
Как в домах поблекших отдается
спящий в дубе потаённый звук.

* * *

Здесь в городе стоит последний дом,
Как дом последний в этом нашем мире.
Дорога дальше продолжает виться шире,
Вплетаясь в дальний незнакомый окаем.

Здесь в городе лишь только переправа
Между чужими и далекими мирами.
Она едва лишь ощутима нами,
Ведь на фантазию всегда находится управа.

Но все-таки тропа уходит вдаль по перемычке
Жаль путь на ней мы так легко теряем, право,
Блуждая в нашей жизни по привычке.

НА КРАЮ НОЧИ

Здесь комната – мерило для пространства,
в котором снова наступает ночь.
А я – другая жизни сторона – без ложного убранства,
без памяти, надежды, постоянства,
но мне пытается хоть чем-нибудь помочь

страна вещей и звук виолончели,
и с женщиной взлетевшие к полуночи качели,
на пьяном фоне зябнувшей луны.
Пусть поколенью новому постели
с любовью новою сквозь темноту видны.

Ну, а во мне трепещет ощущение:
все будет жить во мне и все со мной умрет,
ошибкам больше не подарится прощенье,
и ночь по жизни закоулкам проползет,
и от последнего её серебряного звука,
накидкой облаков полночная округа
закроется, за темный поворот
к концу закономерно прибредёт
с реальной жизнью еженочная разлука.

Перевёл с немецкого Сергей Викман

Татьяна Баскакова

Ниже мы приводим статью известного московского переводчика и литературоведа Татьяны Баскаковой. В конце 2014 года она была награждена Гёте-институтом в Москве специальной немецкой переводческой премией за перевод трилогии Ханса Хенни Янна «Река без берегов», вышедшей в перербургском издательстве Ивана Лимбаха.

Поздравляем с высокой наградой!

Предлагаемая статья – «побочное производство», случайное открытие нового имени, сделанное переводчиком в ходе работы над трилогией Янна. Мы представляем краткий журнальный вариант статьи.

Редколлегия

ТРЕТИЙ ПОСЛЕВОЕННЫЙ ФАУСТ, ИЛИ НОВЫЙ ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ АДАМ

*О единственном незаконченном романе Ханса Волльшлегера
«Листва сердца, или Падение Адамса».*

История вопроса

В 1949 году был опубликован «Доктор Фаустус» Томаса Манна (1). Примерно тогда же, в 1949-1951-м, вышла в свет трилогия Ханса Хенни Янна (2) «Река без берегов», где тоже обыгрываются мотивы легенды о Фаусте, но в аллегорическом ключе – разные персонажи воплощают части личности одного человека, главного героя. И вот случайно я обнаружила третий – послевоенный – вариант Фауста.

Я обратила на него внимание в ходе моей работы над переводом и интерпретацией трилогии Янна. Меня заинтересовал никому не известный (и не упоминаемый в работах российских германистов) роман Ханса Волльшлегера. На это имя я наткнулась случайно при чтении тома только что изданной переписки немецкого писателя Арно Шмидта (3).

В 1962-1963 годах Арно Шмидт трижды рекомендует разным издательствам единственный роман Ханса Волльшлегера, сотрудника издательства Карла Мая (4) в Бамберге, с которым он познакомился за четыре года до того, когда собирал материал для своей книги о Карле Мае.

Шмидт, глубокий знаток немецкой и мировой литературы, восхищался лишь единичными современными авторами (например, Дёблином и Янном, но не Томасом Манном). Тем больше удивляет его высокая оценка романа никому не известного Волльшлегера. В рекомендательных письмах к издателям Шмидт постоянно подчеркивает, что найденный им роман построен по модели Фауста».

Первые же попытки найти какую-то информацию о Хансе Волльшлегере утвердили меня во мнении, что стоит найти и прочесть этот, по-видимому интереснейший, роман.

Но сначала о самом авторе.

Ханс Волльшлегер (1935 – 2007), сын пастора, провел детство на юге Германии. В 1955 году, окончив гимназию, поступил в музыкальную академию, где изучал игру на органе и контрапункт, но вскоре был вынужден устроиться редактором в Издательство Карла Мая – в Бамберге, где и прожил до конца жизни. В дальнейшем Волльшлегер совмещал несколько родов деятельности: изучал творчество Густава Малера (5) и Карла Мая, занимался переводами с английского языка, в частности, переводил Эдгара По и Джеймса Джойса, за что в 1976 году получил литературную премию Баварской академии изящных искусств.

Но главным делом своей жизни Ханс Волльшлегер считал роман «Листва сердца, или Падение Адама».

Несмотря на рекомендации Шмидта, этот роман, писавшийся с конца 50-х годов, так и не был опубликован. Незавершенный вариант романа был издан в 1982 году.

В том же году Волльшлегер получил за этот роман сразу две премии – премию имени Арно Шмидта и Культурную премию города Нюрнберга. Позже он получал за свою литературную деятельность и множество других наград.

Однако, поскольку роман так и не был закончен, он как бы выпал из поля зрения германистов. Роману посвящено лишь несколько статей, одна диссертация и одна монография.

Название романа и общие принципы его построения

Само название романа, многослойное и плохо поддающееся переводу, позволяет сделать некоторые выводы относительно его замысла и композиционной структуры: «*Herzgewächse oder Der Fall Adams*».

Первое слово в названии можно соотнести с аналогичным стихотворением Мориса Метерлинка в переводе Александра Ара, где порывы че-

ловеческого сердца изображаются как различные растения в замкнутом пространстве теплицы и называются «листвой сердца». Такое определение представляется мне точнее, чем более буквальное «побеги сердца», выбранное переводчиком для песенного варианта того же стихотворения.

Вторую часть названия можно перевести не только как «Падение Адама», но и как «Случай Адамса» или «Дело Адамса».

Роман состоит из коротких фрагментов, часто без начала и конца, набранных разными видами шрифта. Таким образом визуально разделяются: записи о непосредственно происходящих событиях (например, о разговорах Адамса с его квартирной хозяйкой, фрау Симон); записи молодого Адамса, которые просматривает повзрослевший, вернувшийся из эмиграции Адамс; мысли во время разговоров; мысли в моменты затуманенного сознания: например, перед засыпанием; сны. Сами тексты Адамса, страдающего болезнью сердца, прерывисты, разделены на короткие отрезки.

За всеми этими формальными особенностями скрывается недоверие к письменному слову, к неоспоримому авторитету авторской речи.

Сам Адамс предпочитает такой роли авторитарного рассказчика скромную миссию читателя и комментатора.

Система персонажей и «фаустовская» сюжетная линия

«Листва сердца» – камерный, или минималистский, роман. Почти все действие разворачивается в комнате, которую вернувшийся из эмиграции Адамс снял в Бамберге, в том самом доме, где он жил в юности, до войны.

Первая часть книги сводится к разговорам с пожилой квартирной хозяйкой, фрау Симон. Адамс, как говорит фрау Симон, «не любит людей», потому что помнит, как они вели себя во время войны, и видит, как легко теперь свели всё к погоне за личным благополучием, к «китчу».

Во второй части Адамс знакомится с Мефистофелем (который здесь носит выбранный им самим псевдоним Ф. А. Галланд), заключает с ним договор, а в последней части вступает в конфликт.

Одновременно он знакомится с молодой художницей Элизабет Риттбергер, напоминающей ему погибшую возлюбленную, и встречается со своим пятнадцатилетним учеником.

Галланд всегда появляется неожиданно, неизвестно откуда, вроде как в сновидении или в момент лихорадки (технически этот фокус удастся осуществить благодаря фрагментарности текста), меняет свою внешность и силу в зависимости от состояния Адамса, воплощает один из вариантов деспотической «фигуры отца».

Договор, который Адамс в конце концов подписывает с Галландом, кажется крайне неопределенным: Адамс будет продолжать писать свою книгу «Прощание с гуманизмом» и займет чисто представительскую должность председателя некоего певческого общества. Взамен Галланд сразу дарит ему большую сумму денег (которую Адамс вскоре отдаст, даже не пересчитав, Элизабет) и обещает в будущем «Власть! Власть!» – власть над многочисленными почитателями его писательского таланта (включая крупнейших политиков и бизнесменов) во всем мире.

Похоже, что Элизабет и юный преданный ученик – такие же порождения фантазии Адамса, как и Галланд. Во всяком случае, после сцены финального разрыва Адамса с Галландом об Элизабет и ученике говорится: оба они давно исчезли.

Отношение Адамса к Галланду принимает всё более параноидальный характер: Адамс начинает подозревать его в сотрудничестве с нацистами во время Второй мировой войны и в том, что в послевоенном мире он занимается конспирологической деятельностью. Адамс грозит «партнёру» разоблачением.

Галланд не отрицает своего участия во всем этом, но говорит Адамсу, что тот не станет его разоблачать, потому что сам «не без греха»: будучи в военные годы сотрудником би-би-си, он вынужден был, как военный корреспондент, летать в качестве наблюдателя в самолетах, сбрасывавших бомбы на Кёльн и Дрезден, – и немцы никогда ему этого не простят, его писательской карьере придет конец... На этом неразрешимом конфликте кончается первый том романа. Точнее, кончается – на осознании Адамсом своей вины, вины *всех* участников крупного военного конфликта перед цивилизацией.

Тень Карла Мая и «адамическая» сюжетная линия

Оба увлечения, проходящих через всю жизнь Волльшлегера – интерпретация творчества Карла Мая и Густава Малера, – нашли отражение в романе «Листья сердца».

Волльшлегер, одновременно с Арно Шмидтом, впервые привлек внимание исследователей к романам Карла Мая, который ранее считался автором второсортной литературы для подростков. Волльшлегер исследовал тексты Мая с точки зрения психоанализа и потом сделал их материалом для разработки собственной концепции искусства. По мнению Волльшлегера, именно тяжелые психические травмы, пережитые Маем в детстве и юности (нелюбовь матери, крайняя бедность, ранняя слепота,

длившаяся четыре года, отсидки в тюрьмах за воровство) способствовали тому, что Май начал создавать в своем воображении фантастические миры и позже сделался очень популярным (и состоятельным) автором авантюрных – в частности, «индейских» – романов.

Волльшлегель пришел к выводу, что искусство вообще представляет собой один из способов борьбы с психическими травмами, и метафоры – средство, помогающее закамуфлировать трагические переживания, какие-то табуированные моменты прошлого, неотступно мучающие человека.

Тот же Май, переживший в конце жизни тяжелейший внутренний кризис, начал писать совершенно по-новому. Его поздние большие по объему романы разрабатывали концепцию новой морали, описывали *путь развития личности*, который может привести ее к гармонии с другими людьми и природой. Эти идеи, изложенные в художественной форме, во многом предвосхитили идеи Фрейда. Его персонажи являются двойниками самого Мая и воплощают разные части его личности.

В «Листве сердца» Май неоднократно упоминается, скрываясь под легко расшифровываемой аббревиатурой «Г.М.» или прозвищем «Старик». Когда фрау Симон, разглядывая старую фотографию Мая, спрашивает Адамса, кто это, он отвечает: *это, в конечном счете, изображение меня*.

В свою очередь история библейского Адама играет центральную роль в позднем творчестве Мая и отражается во многих его произведениях. По Маю, Адам потерял рай потому, что захотел *власти*, в материальном и духовном плане, захотел «быть, как боги». Адам должен вернуться к любви, к невинности детства, и создать рай на земле.

Новедь и Адамс в «Листве сердца» захотел после встречи с Мефистофелем «быть, как боги». В момент заключения договора с Галландом он соблазняется именно возможностью (духовной) власти над своими читателями. В одном месте повествования он даже говорит о сочиняемой им книге так: «38 страниц власти за последние дни». Будучи писателем, он чувствует себя богом-творцом.

В ходе романа постепенно исчезает применительно к Мефистофелю понятие «врага» и существенно меняется отношение Адамса к Галланду. «Он представляет собой нечто вроде голоса целостного мира, оглушающего меня со всех сторон», – говорил Адамс о Мефистофеле.

Таким образом, речь идет уже о совершенно новой картине мира, не имеющей ничего общего с гуманизмом «ветхозаветного Адама», который верит в творимый человеческими руками прогресс и только потому ощущает себя равным Богу.

«Возможность построить для себя подлинное бытие – это что-то наподобие внутренней эмиграции», – так рассуждает Адамс к концу пове-

ствования. И уже трудно различить, идет ли речь об истории конкретного человека, Михаэля Адамса, или об истории послевоенной

Германии, пытающейся преодолеть концепцию «врага», или об историческом пути всего человечества.

Создаётся впечатление, что, хотя роман Волльшлегера и является незаконченным, все задачи, которые только можно поставить в большом и целостном литературном произведении, были выполнены, хотя и большая всеобщая история, и история жизни отдельного человека Адамса показаны не «сплошными линиями», а только пунктирно.

Мы узнаем достаточно подробностей относительно жизни Адамса, начиная с его раннего детства, и очень много – об истории Германии, с начала XX века.

Мы узнаем, как отдельный человек – Адамс – в какой-то момент отказывается подчиняться авторитетам и морали своего времени. И задумываемся о том, что человечеству в целом еще только предстоит пройти такой путь.

Тень Густава Малера и детали композиции

Андреас Вайгель, автор монографии о «Листве сердца», считал, что «эта проза написана методами создания музыкальных произведений». Волльшлегер, изучавший композицию и дирижёрское искусство, создал «особый язык, соответствующий музыкальному языку Малера (5)»: «В нем будут применяться композиторские методы, происходящие из канона музыкальных форм. Ритмы и темпы, последовательно развивающиеся формы здесь тоже из формальных представлений о музыке переносятся в прозу, которая, может быть, благодаря этому обретет полифоничность, какой нельзя добиться, прибегая лишь к инструментарию традиционного повествования».

Высказывания такого рода можно найти и в самом романе, который весь пронизан отсылками к музыкальным произведениям Малера (скрывающегося под аббревиатурой «Г.М.»), чьё мировидение, как считает Адамс, близко его собственному. Речь идет о пограничной ситуации, об угрозе гибели «гуманистической» цивилизации и связанного с ней искусства.

Главное место в романе занимает диалог двух голосов: Фауста

(Адамса) и Мефистофеля (Галланда). О Галланде Волльшлегер (в предваряющих выступлениях перед чтением отрывков из романа) высказывался так: «...он меняет краски своей сущности, как краски оркестровой инструментовки».

Для того чтобы осуществилась программа задуманной Адамсом нео-

бычной книги, не хватало только музыкального завершения, сводящего все мотивы воедино на небольшом. И такое завершение Волльшлегер действительно написал, но лишь в 1987 году, через пять лет после публикации романа. И с тех пор его принято публиковать вместе с основным текстом).

Речь идёт о последней главе «Листвы сердца». Текст представляет собой как бы сновидение о земном странствии (человека или человечества). Сновидение, в котором виртуозно соединены мотивы романа «Листва сердца», дневников Мая, песенных циклов Густава Малера и вавилонской мифологии. Всё это соединено в одно целое образами плавания, пустыни и руин, но, главное, воды.

Волльшлегер описывает судно, медленно плывущее к берегам Египта. Признаки описываемой ситуации – безъязыкость, отсутствие видимых ориентиров. Странствие проходит вдоль жарких берегов, где царят тиф и чума.

Медленно движется корабль, медленно закатывается солнце. «Очень медленно, очень тихо, это как колыбельная», – такие ремарки делал Малер к циклу песен о мертвых детях. Эти же ремарки использует и Волльшлегер в завершающей главе, где метафорически представлена мысль о смертности и человека, и человечества.

И может быть, самое важное в этом заключительном отрывке романа – что «райский дом» приравняется – по созвучию, что характерно для архаического мышления – просто к человеческому дому, который прилепился где-то к обрыву над бездной, в ситуации только начинающегося сотворения нового мира. И может быть, все еще впереди, еще есть какая-то надежда на новый ход человеческого бытия.

Справки об упоминаемых авторах

1 – Томас Манн (1875 – 1955). Классик немецкой литературы, крупнейший писатель-романист, лауреат Нобелевской премии. Автор множества романов, в том числе «Будденброки», «Волшебная гора», «Доктор Фаустус» и др.

2 – Ханс Хенни Янн (1894 – 1959). Немецкий прозаик, теоретик искусства, музыковед. Основные произведения, переведённые на русский язык, – «Деревянный корабль», «Это настигнет каждого», «Река без берегов» и др. Все – в переводе Татьяны Баскаковой.

3 – Арно Шмидт (1914 – 1979). Немецкий писатель, теоретик литературы. Автор романов «Каменное сердце», «Республика учёных, а также многочисленных рассказов.

4 – Карл Май (1842 – 1912). Немецкий писатель, поэт, путешественник, автор приключенческих романов. Многие его вестерны экранизированы (например, об индейце Винниту).

5 – Густав Малер (1860 – 1911). Выдающийся австрийский композитор и дирижер. Его творчество было переходным от австро-немецкого романтизма к модернизму 20-го века.

Ольга Завадовская

* * *

Январь расходится по швам,
обуреваемый весною.
Сменяет ливень птичий гам,
коты кричат и кости ноют.

Дамоклов меч, Сизифов труд,
конюшни Авгия повсюду...
Когда Геракла позовут
вершить очередное чудо?

В горшке на кухонном окне
тюльпан растет, каприз природы.
И с каждым днем растут в цене
мои непрожитые годы.

* * *

Как было холодно, как страшно стыли руки!
Как низко гнулся серый небосвод...
Груз тишины. Ноябрь. Во всей округе
никто уже на дачах не живет.

Как было холодно, пока мы не согрели
в кастрюле синей красное вино.
Растаял день, размытой акварелью
ложась на запотевшее окно.

Шум поезда. Внезапный звук в прихожей.
Условность времени. Неловкости порог.

И поиск слов ненужных, так похожих
на вдох и выдох где-то между строк.

* * *

Я не знаю,
был один этот день,
или много их было. Не помню.

Это в мае
сквозняками рвало
занавески из комнат.

Это стая
орущих ворон
облепила соседскую крышу.

Я гадаю:
ушел ты совсем
или просто на улицу вышел.

* * *

Я обхожу знакомые места
в том городе, где мы с тобой любили
без исключения все. Где просто жили
с тобою вместе, эдак, лет до ста.
Был дом, кровать, и стол, и лампа. Здесь
корявые значки в обличьи птицы
с одним крылом ложились на страницы,
чтобы потом на клавиши присесть.
Неторопливый осени приход
отмечен был свеченьем желтых кленов
в том городе, где белки и вороны,
и даже зайцы жили круглый год.
И не было для нас календарей,
часов, имен и чисел. Разве важен
тот некто, проходящий персонажем
безликим мимо окон и дверей...

Жара и снег, обиды, суета –
все где-то там, где мира нет и лада,
где оседает под тяжелым взглядом
по-детски угловатая мечта...

В том городе неведомой страны
исчезло все, что мы с тобой любили.
И город сам исчез под слоем пыли.
И мы с тобой еще не рождены.

* * *

За бутылкой вина мы не будем читать допоздна
немудреные вирши
и столь же нехитрую прозу.
За столом, где свои,
где не терпят ни фальши, ни позы,
Есть иные слова,
за которые нужно – до дна.

Только где же они, настоящие, те, кто навек,
те, кто ночью и днем,
кто плечо, и рубашку, и душу?..
И упрямая память бредет в тесноту комнатушек,
где наивность надежд
начинала неспешный разбег.

Все быстрее и резче меняют свой цвет времена,
и, не в силах молчать,
мы терзаем невинность бумаги.
Только лучших, несказанных слов,
поднимаются флаги
за столом, где свои,
за початой бутылкой вина.

* * *

Вересковые поляны
и брусничные поля.

Кружит ветер окаянный,
гривы соснам шевеля.

Ветер утренний и юный,
не владеющий собой -
только море, только дюны
и грохочущий прибой.

* * *

Мои облака не имеют конца и начала -
балконный проем заключает их в раму свою.
Плывут паруса и проносятся мимо причала,
где я, продолжая их бег, неподвижно стою.

Мои облака — акварель безупречной работы,
и в раме стены бесконечна ее глубина.
На белой бумаге рисую годами, без счета, -
под кистью моей проявляется только стена.

Мои облака — это взлет колокольного звона,
симфония струнных, тревожная меди игра.
Я клавиш касаюсь, - но падают звуки с балкона
и медленно-медленно тонут в колодце двора.

Владислав Пеньков

СЕРДЦЕ

Направо – пивная, налево – притон.
И разве мне некуда деться?
И этим вибрирует мой камертон –
моё серебристое сердце.

В пивной выпивают, в притоне – аншлаг,
чему же ты, сердце, не радо?
Звучишь, словно дяди ворочают шлак
в котельных всего Ленинграда.

Ты здесь ни причём, ни при где, ни при тут,
ты – райское. Помнишь, как было?

Плывёт по Обводному вязкий мазут
и ты за мазутом поплыло.

ПЛАТА

Промозглое что-то с insultовым ртом –
луной, не похожей на пряник,
труба кочегарки взмахнула кнутом
и это не переупрямить.

Российского Бога холодный приют –
обычное небо по-русски –
ты щедро дарило мне свой уют,
отсутствие сна и закуски,

свинцовый язык, деревянную речь
и волглую суть рефлексии.

Но это не всё, что сумел я сберечь,
не всё, что я взял у России.

Но в виде остатка – остаток не сух –
дома с Достоевскою складкой,
и белый, лебяжий практически, пух –
покровские то есть осадки,

лебядкинский морок, раскольничий сон,
сгорающий омут заката
и омут рассвета ему в унисон –
вот самая русская плата

за то, что покинул, за то, что убёг,
за то, что... и этого хватит.
Ах, да, я забыл – я навеки сберёг
присутствие смерти в палате

и то, как вогнали иглу мне в плечо,
и то, как морозом дышало,
и то, как дышали в лицо горячо,
а это почти что немало.

ПОРТРЕТ

S.

Женщине, похожей на ресницу,
не мешало то, что по жилью
разрасталась дымная грибница,
женщине, похожей на твою.

Никогда не скажет «Ты – любимый».
Просто будет близко и близка.
Мёртвые чего-то там не имут.
Мёртвые не имут потолка.

Мёртвые его перерастают
и колышет пряди их волос
облаков порывистая стая
и целует губы их взасос.

Льётся свет из женщины-реснички.
Попирает тени этот свет.
Свет исходит из своей привычки.
У него других привычек нет.

Он растёт, растёт без остановки,
и играет в вечную игру.
Отвечает «Нет» без недомолвки
на прямой вопрос «А я умру»?

ПЛЕЧО

S.

Туземный дворик. Вечера канава
домашним мраком дышит горячо.
И ослепляет, как земная слава,
твое незагорелое плечо.

Ещё не поздно повернуться к стенке,
благословенья тихо бормоча,
не дать себе привыкнуть к тонким венкам,
сбегающим с миражного плеча.

КЛЕЕ

Всё на самом деле очень просто –
синева прощает нам грехи.
Так, наверно, видятся с погоста
экзистенциальные штрихи.

Ангелы слетелись к изголовью,
окружили звонкой тишиной.
Изошёл сиянием, что кровью,
голубым сияньем – перегной.

Человек не злой и не хороший
протянул к сиянию ладонь

и туда упал, совсем как грошик,
чешуёю ангельской – огонь.

Ходит-бродит рыбка золотая.
Это рай сверкнул из-за угла.
Кажутся безделкой из Китая
важные наземные дела.

Моментально, вечно-моментально
всё вокруг, и сводится к цветам
явное, но явленное тайно,
крыльями сверкающее Там.

И роняют райские высоты
зябкими ночами вот сюда
тихие мерцающие соты –
адвокатов Страшного суда.

РЕШЁТКА

На любой вопрос найдётся мера,
так что почитай-ка, не спеша,
что напишут голуби Шумера,
зиму коготками потроша.

Можно или спеться или спиться –
это всё подвиды чепухи,
можно запалить, как Красовицкий,
а потом спалить свои стихи.

Тяжела ты – пятка Ахиллеса
и седого старца борода.
Ты – своих же строчек недовесок
и своих же буквниц ерунда.

Отделить? Возможное возможно,
а вот это – вряд ли. Тут хана.
У меня – из бороды острожной –
ржавая протянута струна.

Самое отчаянное помню,
остальное – полное фигня.
Помню про висок и про шиповник,
по вине летучего коня.

Помнится коробка ржавой «Астры»,
а суглинок и вошедший Бог
внесены в особые кадастры –
в каждый вдох и выдох, выдох-вдох.

МОЛИТВА ОБ ОТБЛЕСКЕ

Окликаешь по имени Сына,
нынче можно, а все – ни-ни.
Так горчила припадка рябина,
что рябину припадка верни.

Дай мне снова почувствовать слабо
свет, который к словам не свести.
Медный грош – не обилие бабок,
умещается лучше в горсти.

Только так и не надо иначе –
положи мне монетку в ладонь.
Дай мне отблеск, которым маячит
и зовёт и вызывает огонь.

Дай мне отблеск такого размера,
чтоб, уйдя от надежд и торгов,
я ходил по больничному скверу
по цепочке надводных следов.

GOODOLD

1

Англия, Англия, ветра баланда.
Небо, вообще-то, бывает и синим.
В детстве болели от холода гланды,
Диккенс зато холодел в апельсине.

Сладкого сока, прохладного сока
в Диккенсе было под горькою коркой!..
Ветер шумел на болоте осокой,
снег наметало на улице горкой.

Если оглянешься, «аста ла виста», –
так на горячих губах и застынет,
детской ладошкой – ладошкой Твиста –
манит огромная пустошь-пустыня.

Битых бутылок осколки под снегом,
слёзы и сахар за каждым глаголом,
каждый январь начинался с побега
из сорок пятой в житейскую школу.

Нету в карманах ни пенса, ни спички,
нечем согреться – ни спички, ни пенса.
Это со мною теперь по привычке –
самый чувствительный бедности сенсор.

Только под этим, за этим, над этим –
сладким – до дрожи – моим оберегом
делятся – дольками – мёртвые дети
и Рождество согревает их снегом.

Много ли смысла в простом померанце?
Больше, чем думают в тёплой гостиной.
В детстве по Лондону шёл голодранцем
Тот, Кто до этого шёл Палестиной.

2

Что я помню об этом апреле?
Я немного помню о нём,
но, наверное, птицы галдели,
умываясь рассветным огнём.

Помню книжку в бумажной обложке
про любовника мисс Чаттерлей
и урчащий сердитою кошкой
теплокровный чугунок батарей.

Но и этого хватит, пожалуй,
чтоб по новой его раскурить –
этот месяц, не слушавший жалоб
и зажививший кносскую нить.

Время давнее, дальше, чем оно.
Рыжий волос и гордая стать
и глаза дочерей Альбиона.
Как мне думать о них перестать?

Да и стоит ли? Всё-таки вечен
этот (плоское слово) сюжет –
я целую запретные плечи,
ты запретно смеёшься в ответ.

З
Не надо песен соловьиных
в садах причудливых Версаля.
Мою рифмованную глину
они как минимум достали.

Мне по душе простая пемза
густого лондонского смога,
в неё бросаются, как в Темзу,
за просто так и ради Бога

она сдирает оболочку
без проволочек и обмана.
И слишком рано ставить точку
викторианского романа.

Всё непонятно и нечисто,
нирвана слишком примитивна
для напеваемого Твистом
блатного скользкого мотива.

И не дано переиначить
бесшумно взломанную лавку,
викторианскую удачу,
викторианскую удавку.

И сочинением на тему,
слегка затронутую выше,
ползёт гудение Биг Бена
крылатой раненою мышью.

Григорий Аросев

ПУТЕШЕСТВИЕ ШКОЛЬНИКА

М. А.

- Плохо, очень плохо, Павел Анатольевич, что вас не будет в пятницу.
- Что такое?
- Ну как, приезжают буряты, ваш проект как-никак.
- А, это... Я понимаю, но, увы.
- Ваши дела никак не отложить? Возьмите понедельник вместо пятницы.
- Мне нужно уехать в четверг вечером.
- Печально.
- Знаете, я так редко о чём-то прошу, так что, пожалуйста, давайте без нервотрёпки.

«Вот это ты обнаглел», – подумал начальник, но полыхнуло в глазах Павла Анатольевича что-то враждебное, непривычное, чужое даже. Начальник, неожиданно для самого себя, струхнул.

- Ладно, ладно. Договорились. Звонить вам тоже нельзя будет?
- Можно, – легко согласился Павел Анатольевич, прекрасно зная, что отключит рабочий телефон сразу же, как сядет в поезд. А личный его номер никто из посторонних не знал.

Когда постоянно настроенное на какую-то бизнес-волну радио радостно булькнуло, что, мол, пять часов вечера, Павел Анатольевич полностью расхотел работать. Ему повезло: начальник получасом ранее заглянул, пожал всем руки и уехал на какие-то переговоры. Оставшись без формального руководства, Павел Анатольевич решил сбежать раньше времени. Он проверил наличие паспорта и тихонько выскочил на улицу. Отшагал минут пять и потом вспомнил о машине. Пришлось возвращаться и спускаться в гараж. «Я могу не выезжать до понедельника?» Охранник посмотрел явно осуждающе, но формально придраться было не к чему. «Не выезжай-

те», – буркнул он, после чего Павел Анатольевич окончательно распрощался с действительностью.

Он вышел из обрыдшего офисного здания с безвкусными синими стёклами, спустился в подземный переход, вынырнул на другой стороне проспекта Мира и медленно побрёл по Протопоповскому. Хотя Павел Анатольевич работал тут уже года три, он считанные разы пересекал волшебную границу – сознательно, не хотел разрушать магию детского восприятия. Ведь буквально метров четыреста-пятьсот, одна трамвайная остановка, и вот она – его школа, в которой он учился давно до чрезвычайности, но всё же не настолько, чтобы равнодушно ходить по тем местам. Впрочем, сегодня он решил всё равно особо не глядеть по сторонам, а сосредоточиться на своих воспоминаниях – день такой. Лучше, конечно, было бы выехать вчера, чтобы весь сегодняшний день провести там... Но никак не получалось. Главное ведь оказаться там сегодня символически до полуночи, а это ему удастся.

Он прошёл по прямому, как стрела, Протопоповскому, лишь мельком взглянув на желтеющее по левую руку здание нетипичной, совершенно «не школьной» планировки. Ничего, если будет желание – через месяц прогуляет тут. Или через два. А насчёт планировки – как же иначе, тут ещё его отец учился, стало быть, школа была построена никак не позже пятидесятого. Тогда ещё, слава небесам, не придумали тошнотворный трёхэтажный квадрат с так называемым двором посередине. Невероятное убожество, кому это пришло в голову?

Павел Анатольевич повернул на Каланчёвскую. В класс вошла Инна Игоревна, ведя за собой какую-то девочку.

– Здравствуйте, ребята.

Все по старой привычке встали, весело вразнобой произнося «Здрасьте» – классную руководительницу искренне любили.

– Хотя до выпускных экзаменов остаётся всего две четверти, у нас новенькая – Ира Смирнова. Её родители срочно переехали в Москву, поэтому Ире пришлось сменить школу. Как говорится, прошу любить и жаловать, не обижайте её.

Чего ж обижать. Класс был совершенно не злобный, самое плохое, что ожидало новоприбывшую – равнодушие, но Ира оказалась девочкой очень открытой и приятной в общении, и её очень быстро, буквально за несколько дней, стали считать своей.

Паша пару недель присматривался к ней, присматривался, а потом взял и написал ей записку – благо он проводил дремотные учебные часы за последней партой, а Иру посадили перед ним, к Насте, которая вечно сидела одна. Паша просто прикоснулся ладонью к её плечу, а когда Ира оберну-

лась, передал ей бумажку, на которой было написано три слова: «Погоуляем после уроков?» Ответом был приветливый утвердительный кивок.

А ведь в этом доме раньше жил Дима Шишкин. Интересно, где он теперь? Хороший парень был. Паша влюбился в Иру так, как может влюбиться только одиннадцатиклассник. Дикая, невероятная страсть, помноженная на полное незнание, что с ней делать, а также на отсутствие денег и какого бы то ни было жизненного опыта, не давали Паше спокойно дышать. Он одновременно терзался и наслаждался своими чувствами. А Ира – худая, веснушчатая, с пышной, смешной, но стильной причёской, зеленоглазая и стройноногая, – считала его таскания за собой чем-то самым собой разумеющимся. «Ты не против, если я завтра опять приду?» – спрашивал Паша. Он наладилась каждый вечер подходить к её дому, после чего они коротко (а то и не коротко) прогуливались по округе. «Конечно, приходи, а как же иначе?» – удивлялась Ира. Павел Анатольевич, крепко задумавшись, уже минут семь стоял напротив дома Димы Шишкина. Очнувшись, встряхнул головой, проверил, который час, и пошагал дальше. И хотя в поведении девочки не было ничего враждебного или недружелюбного, он своими покамест никчёмными мозгами полагал, что она воспринимает его исключительно как друга. А проверить боялся – мысль о том, что Иру теоретически можно поцеловать, ввергала его в сладкий ужас. И за руку тоже он стеснялся её взять.

А ещё их отношения почти с самого начала сопровождала предопределённость расставания. Ира рассказала, что в Москву переехала из Питера вместе с папой, потому что у него что-то не получалось по бизнесу, и ему срочно потребовалось уехать, куда – неважно. Ирин папа решил перестраховаться и на всякий случай увёз с собой и дочь. Папина двоюродная сестра согласилась принять двух гостей на полгода, вот Ира и оказалась в Москве – с отцом, но без мамы. После выпускных же – назад, домой. Поступать в Репинку.

«А если я приду тебя провожать, папа не рассердится?» – «Я не знаю, но спрошу его. Но ты приходи в любом случае, он хороший». – «Вдруг он ругаться будет?» – «Если и будет, то на меня, потом. А не на тебя». Павел Анатольевич помнил этот кусочек разговора двадцатилетней давности дословно. И потом – на перроне. Они только и делали, что молчали. Ирин папа, очень высокий, усатый и лысый, даже пожал Паше руку, после чего деликатно удалился в купе. А они стояли и только и делали, что молчали. Ира была в коротких шортиках и майке – не облегающей, но всё равно этот её образ ещё очень, очень, очень долго не давал Паше спокойно спать. Давила жара, хотелось плакать и ситуация требовала сказать хоть что-нибудь. А они стояли и только и делали, что молчали. Наконец Ира молвила:

«У меня день рождения в конце июля, двадцать пятого. Приедешь?» Паша вспыхнул и окончательно оробел.

Робел-робел, но в итоге набрался духа и отправился в Питер. Найти денег на билет туда-сюда оказалось не очень сложно – половину суммы взял у отца, оставшееся – из своих скромных, но всё же существующих запасов. Обратно, правда, билет был только на самый неудобный поезд – проходящий через Москву транзитом, Паше светило просидеть на вокзале в ожидании открытия метро часа три. Другая возможная трудность – сопротивление мамы, Паша раньше сам никуда не ездил. Но в честь успешной сдачи всех возможных экзаменов ему позволили стонять в Питер – на световой день, без ночёвки. Две ночи в поезде. Волноваться перед отъездом он начал за неделю. Хотелось и Иру увидеть поскорее, и просто почувствовать себя самостоятельным путешественником.

О, а вот и «Перекоп» – кинотеатр детства. Точнее, здание, которое когда-то было «Перекопом». Что же с ним сделали, ироды... Казино и банк. Ну, отвратительно же. Хоть бы в мультиплекс какой-нибудь превратили, чтобы, по крайней мере, в темноте кинозала снова воскрешать в себе ощущения школьника, сбегающего с уроков на какой-нибудь «Налево от лифта»...

Как ни досадно, но события того дня он помнил довольно смутно. Они встретились на вокзале, гуляли, за руки так и не взялись, а на поцелуй даже намёка не было. Но оба чувствовали себя предельно счастливыми и без всех этих штучек. «А когда у тебя будут гости?» – спросил Паша. «Завтра», – ответила Ира. «Почему не сегодня?» – «Я же знала, что ты приезжаешь». – «Я бы мог посидеть с твоими друзьями...» – «Да, но я хочу этот день провести только с тобой», – нескончаемо, как солнце над Британской империей, улыбалась милая питерская девочка. У Паши от восторга першило в горле. В первую же секунду встречи он неловко всучил ей подарок – шикарное, с трудом найденное и на оставшуюся часть сбережений купленное издание Вермеера, но в результате, конечно, сам же и таскал его весь день.

Павел Анатольевич предъявил паспорт и вошёл в вагон. Конечно же, ехать придётся спиной вперёд, разве иначе могло быть с его везением? Хотя вполне могло, не стоит лишний раз пенять на судьбу.

Потом Ира решила показать ему свои точки на карте. Так и сказала. Хотя точек этих было всего-ничего – дом, школа и художка. И от одной до другой – минут пять ходьбы. А до третьей ещё пять. Но это было так интересно – дворы Литейного, совершенно непохожие на переяславские – вдоль Большой Переяславской улицы, на которой он жил с рождения до окончания института. «А вот моё окно, а вот здесь во дворе я любила сидеть, когда совсем маленькая была», – неизбежно показывала и рассказывала Ира, а Паша, разинув рот, смотрел и слушал, как будто ему раскры-

вают самый важный секрет мироздания. Впрочем, так и было. «А тут, говорят, жил Бродский. Ты читал его?» Паша кивал, хотя и не читал, и вообще с трудом представлял, кто это. Он кивал, так как в безмолвном восторге был готов согласиться со всем, что скажет Ира. Происходившее далее в Петербурге Паша помнил, а Павел Анатольевич уже нет.

Вот и Тверь. Смешно, кто-то даже выходит. Второе расставание было ещё тяжелее первого. Если бы они оба знали, что такое интуиция, они бы прислушались к ней, поскольку она из всех сил орала им, что всё, они больше не увидятся никогда. Но Паша слушал только своё тело, а оно упрямо надеялось, надеялось, надеялось. О чём думала Ира, никто так и не узнал. До отправления поезда оставалось минут десять. Питерская девочка щёлкнула по носу московского мальчика и сказала: «Не грусти, слышишь?» Он скептически хмыкнул. А потом они поцеловались. Оба впервые в жизни, хотя оба думали друг про друга, что уж противоположная-то сторона точно не новичок в этом вопросе.

И четыре часа, ровно до Бологого, Паша проплакал в подушку, отвернувшись к стенке и не желая поворачиваться к соседям и окружающей действительности. Он проклинал своё первое независимое от родителей путешествие. «Бологое!» – хрипло выкликнула проводница. Паша вытер лицо, сел и посмотрел за окно. На соседнем пути стоял поезд, красивый, как будто заграничный. Паша никогда таких не видел. Он взглядом встретился с каким-то грустным дядькой, который смотрел на него из заграничного вагона.

«Мы прибываем на станцию Бологое, стоянка – две минуты», – сказал красивый женский голос. Павел Анатольевич очнулся и посмотрел за окно. На соседнем пути стоял поезд – старый, ржавый, как будто из полусоветского детства. Павел Анатольевич уже лет десять таких не видел. Он взглядом встретился с каким-то грустным подростком, который смотрел на него из убогого вагона.

Ближе к Новому году Ира позвонила сама – невиданный случай! – с ошеломляющими вестями. Они уезжают в США. Насовсем, да. «А ты хочешь туда?» – упавшим голосом спросил Паша. «Честно – да», – ответила Ира. Невзирая на мгновенно накотившее горе, Паша сумел промолчать и не задать вопрос «А как же я?», который так и вертелся на языке. Они ещё о чём-то поговорили пару минут, и затем Ира навсегда отключилась от жизни Паши. Конечно, она обещала писать, и, конечно, обещания не сдержала. Впрочем, он и не рассчитывал. Именно тогда он впервые понял: если что-то хорошее возможно, лучше не ждать ничего. Следуя этому принципу, он ни разу не ошибся за всю свою жизнь.

Поезд прибыл. Павел Анатольевич на метро доехал до «Чернышевской», там, ориентируясь по телефону (пришлось включить, но мгновенно пе-

ревести в режим самолёта), мгновенно отыскал гостиницу. Ночлежка, конечно, даже шампуня нет в ванной, а стоит – дорожке брюссельского «Новотеля». Краем глаза на доме напротив заметил мемориальную доску. Заселился в номер, снял пиджак, вымыл руки и снова вышел на улицу. Пересёк Литейный, приблизился к высеченному профилю, посмотрел на небо, прошептал: «Я был счастлив здесь и уже не буду», и вернулся в номера. Разделся и лёг, мысленно ругаясь на жару и скупость хозяев отеля, не желавших тратиться на кондиционер. Как только расслабился, в голову против желания полезли всякие картинки – лица, тела, ситуации. Павел Анатольевич лишь брезгливо поморщился – вся его предыдущая жизнь большего не заслуживала. Вскоре удалось заснуть.

Порабощение людей социальными сетями по большому счёту прошло мимо Павла Анатольевича. Он даже не пытался найти Иру в интернете – смысла не было. Ни к чему было узнавать, что она счастливо замужем, живёт с мужем и двумя сыновьями в каком-нибудь Сан-Диего и любит котят. Или что замуж так и не вышла и до сих пор строит карьеру. Или что развелась и потеряла всякую веру в мужчин. Старомодному в понимании таких вещей Павлу Анатольевичу было это совершенно без надобности. Как и телефон – он полезен только когда люди постоянно общаются вживую, а по телефону – так, договариваются о встрече, не более.

Проснулся совсем мрачный и едва ли не больной. Сильнее всего хотелось оказаться на даче, единственном месте, где можно спокойно и незаметно течь сквозь бессмысленное и никому не нужное время. Но до дачи много сотен километров, да и вообще – чего страдать? Сам приехал, никто не принуждал.

Умылся, выпил в гостиничном холле кофе, да и сдал ключ. «Вы багаж пока оставили в номере?» – вежливо спросила администратор. «Нет, это всё», – сказал Павел Анатольевич, махнув маленьким кейсом для ноутбука (в котором вместо компьютера лежали зубная щётка и прочая бытовая дрянь), и иронически глядя на удивлённо вздёрнувшиеся брови девушки.

Буквально десять-двенадцать домов налево – и заветный поворот в арку. Готовясь к поездке, он специально искал гостиницу поближе к этим местам. Чтобы вот именно так: проснуться, выйти наружу и никуда не ехать, просто прогуляться пешочком. Хотя такой удачи, чтобы отель оказался на той же стороне улицы и так близко, он не ожидал. Господи, как же банально – ровно двадцать лет и один день спустя бродить по Питеру, по Литейному, сходя с ума от любви. К кому? Что он о ней знает? Что он о ней помнит? Что значит его «любовь»? Что значит для него Ира? На все вопросы ответ один: ничего.

Вот и двор. Конечно, трудно воскресить в памяти обстановку того волшебного дня, но кажется, что здесь ничего особо не поменялось. А это её

подъезд. Дверь открыта. И окно на четвёртом этаже – тоже открыто. Хм, а ну как зайти? Он задохнулся от собственной смелости.

Звонок. Металлическую, наполовину ржавую железку отомкнула пожилая, строгого, но не злого вида женщина.

– Что вам угодно?

Паша беспричинно очень испугался.

– Здравствуйте. Меня зовут Паша. Фамилия – Андриевский, – и глупо замолчал.

– Чем вам помочь, Паша? – спросила женщина, улыбнувшись от несоответствия уменьшительной формы имени и вида мужчины – высокого, в строгом костюме, хоть и без галстука, вовсе не худого и уже изрядно полысевшего.

– Знаете... Тут, в этой квартире, много лет назад жила одна семья...

– Смирновы?

– Да.

– Жила такая семья, правда.

– И у них девочка была, дочь... Ирой звали.

– Тоже правда.

– Я её одноклассник... Бывший, конечно... Очень хотелось посмотреть на её комнату, если можно. Я не террорист и не грабитель! – поспешно уточнил Паша.

– Проходите, это можно. Сюда. Вот тут она и жила.

Он завертел головой, запоминая всё, что можно. Но что и зачем запоминать? Разве что метраж квартиры. Люди живут другие, мебель другая, атмосфера другая. Да, он увидел её комнату – небольшую, квадратную, залитую светом. Окно – вид на Литейный, здорово. Но это и всё... Павел Анатольевич вздохнул от тщеты очередной идеи.

– А знаете, я здесь живу всего семь лет, – неожиданно сказала женщина.

– М-м, – невнятно отреагировал Павел Анатольевич.

– Как вы думаете, о чём это говорит?

– Не представляю, – ответил Павел Анатольевич, честно подумав.

– Ладно, скажу прямо. Я не знала, кто здесь жил до предыдущих хозяев. И уж тем более, где была комната девочки Иры. Но недавно узнала.

– А кто вам сказал?

– Да сама Ира и сказала. Она вчера заходила.

– Ира?

– Да, она якобы прилетела откуда-то из-за рубежа на сутки. Походила тут две минуты и всё.

– Ира?

– Да.

– Ира???

Все осечки и промахи, поражения и проигрыши денег, опоздания на рейсы и потери багажа, постельные неудачи и профессиональные унижения, оскорбления и взыскания, переломы и растяжения, банкротства и аварии, фиаско и крахи, разочарования и неудовлетворённости, ссоры и расставания, компромиссы и соглашательства, вообще всё, буквально всё рядом с ударившей бедой померкло и исчезло. Его любимая питерская девочка была тут вчера. А он, идиот, сидел в своей конторе и работал. Она была тут вчера. А он работал на работе. Она – тут. Он – там. Что, значит, так и должно быть? Павел Анатольевич вяло поблагодарил женщину и спустился вниз. Колени дрожали, голова кружилась, тошнило. Павел Анатольевич, не думая о том, во что превратится костюм, тяжело привалился к стене дома и сполз на землю, сев прямо рядом с входной дверью в подъезд. Кстати, не в «подъезд», а в «парадную», нестати подумалось ему, Ира наверняка бы его поправила. Он положил кейс рядом и надолго застыл, опустив голову. Кажется, даже задремал. А очнулся от того, что дверь захлопнули. Он поднял голову – какая-то женщина в коротком платье удалялась через арку в сторону Литейного. Погодите-ка, где-то он уже видел эти ножки, этот затылок, эту забавную кутерьму на голове... Он вскочил. Не может быть. Этого не может быть никак и никогда, потому что просто не может быть. Это невозможно!

Очертя голову, он кинулся вслед. Выбежал на проспект, судорожно огляделся, и, крутя головой во все стороны, обречённо заорал:

– И-ра-а!

– И-ра-а-а!

– И-РА-А-А-А-А!!!

Вокруг всё замерло, машины снизили скорость почти до нуля, пешеходы застыли в неудобных позах, светофоры перестали моргать. Воздух загустел. Солнечные лучи притормозили. Ход истории остановился, не зная, поворачивать ли ему куда-нибудь или идти прежней дорогой.

Наконец через несколько вечных секунд ожидания в сознание Павла Анатольевича проник странный звук. Треск какой-то, шелест, шорох. Он прислушался, потом присмотрелся. Ясно. Это, дрожа и скрипя, спадала оболочка его предыдущей жизни, наполненная неправдой, недовольством, конформизмом, нелюбовью, ложными целями, порочными средствами и слишком рано наступившей зрелостью. От ощущения давно забытого сладкого ужаса Павел Анатольевич закрыл глаза, а когда Паша снова их открыл, всё уже было в тысячу раз лучше и совсем иначе.

Павел Крючков

«МНЕ ВСЕ БОЛЬШЕ ВИДНА
ЕЕ МУЧИТЕЛЬНАЯ СУДЬБА
ВПЕРЕДИ...»

Письма и дневники Лидии Чуковской: на пути к чтению

Вчера с Лидочкой по дороге (Лидочка плакала с утра: отчего рыбки умерли): – Нужно, чтоб все люди собрались вместе и решили, чтоб больше не было бедных. Богатых бы в избы, а бедных сделать бы богатыми – или нет, пусть богатые будут богатыми, а бедные немного бы побогаче. Какие есть люди безжалостные: как можно убивать животных, ловить рыбу. Если бы один человек собрал побольше денег, а потом и роздал бы всем, кому надо. И много такого.

Этого она нигде не слыхала, сама додумалась и говорила голосом задумчивым – впервые. Я слушал как ошеломлённый. Я первый раз понял, какая рядом со мною чистая душа, поэтичная. Откуда? Если бы написать об этом в книге, вышло бы приторно, нелепо, а здесь, в натуре, волновало до дрожи.

*Корней Чуковский.
Дневник, запись от 2 апреля 1914 г.*

С Лидой у меня установилась тесная дружба. По вечерам мы ведём задушевные беседы — и мне все больше видна её мучительная судьба впереди. У неё изумительно благородный характер, который не гнётся, а только ломается.

*Корней Чуковский.
Дневник, запись от 17 июля 1925 г.*

Писательница Лидия Корнеевна Чуковская, как я помню, очень любила стихотворение Александра Блока «Последнее напутствие» (1914) и замечательно читала его, чуть-чуть выделяя своим глубоким, торжественным голосом вот эти строчки:

*И опять – коварство, слава,
Злато, лесть, всему венец –
Человеческая глупость,
Безысходна, величава,
Бесконечна... Что ж, конец?*

...Увы, ещё безысходней и величавей человеческой глупости – повсеместная укоренённость мифологического сознания, – то есть то, к чему вполне применим старинный оборот «хоть кол на голове теши». Стараясь никого не осуждать, я изредка думаю об этом, когда в переделкинском Доме-музее Корнея Чуковского (уже в наше время, после многих публикаций – и отдельных, и книжных, после неоднократных переизданий «Дневника» Чуковского, к примеру) некоторые вполне просвещённые посетители из лучших чувств делятся со мною своими «знаниями» и/или задают соответствующие вопросы:

«И все-таки скажите: «Тараканище» – это же о Сталине?»

«Говорят, *как мы знаем*, что Чуковский отговаривал Репина возвращаться в СССР».

И – всегдашнее (но это уже от особенно осведомлённых): «*Многие считают*, что подлинный Корней Иванович зафиксирован в *мемуарах* Евгения Шварца «Белый волк». Наверное, наследникам Чуковского они не по нраву?»

О Лидии Чуковской подобных «устойчивых» вопросов задают куда меньше, но девять из десяти читающих граждан непременно назовут дневниковые «Записки об Анне Ахматовой» (с которыми они, как говорят, знакомились) – *воспоминаниями*. ...А кто-нибудь из почитающих ту или иную мемуаристику, непременно поделится со мной полюбоившимся ему эпизодом о том, как приходила-де в комаровскую «будку» к Ахматовой – Чуковская, а «Анна Андревна» как раз собралась пить вместе со своими «ахматовскими сиротами» (то есть с Бродским и другими молодыми людьми) – водку, и тут – на тебе – строгая «Лидия Корневна». И приходилось, мол, убирать стремительно нагревающуюся бутылку под стол, делать строгое выражение на лице и поддерживать разговор о культуре, пока «Лидесса» не покинет компанию.

А иной любитель мемуаров ещё и прибавит: «Когда за Л.К. закрывалась дверь, Ахматова всегда говорила: «...Наша Лида пошла писать мемуары».

Поделится и глянут победно: видите, мы читали, знаем.

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно.

Но случается и другой, более глубокий, как теперь говорят, *дискурс*.

Бывает, что даже в воспоминаниях серьёзных, профессиональных литераторов иной раз встретишь такое, что и глазам не поверишь, не сообразишь – как и чем возразить.

Да и зачем, собственно и кому возражать?

Вот, сын прозаика Павла Нилина (П. Нилин был с К. Чуковским в добрых отношениях), вспоминает о том, как относилась к его отцу дочь Чуковского (долгое время относилась прохладно). Приведу пространную выдержку из ярких, чрезвычайно интересных воспоминаний Александра Нилина «Аллея классиков. Роман из частной жизни», подчеркнув, что из этой выдержки хорошо видно: автор опирается не только на свою память, но и на прочитанные им, весьма специфические книги – на переписки, например.

«В переписке Корнея Ивановича с дочерью Лидой фамилия Нилин возникает в сорок первом году. Чуковский не просто рассказывает дочери о неприятностях, постигших нового соседа, но и выражает ему сочувствие. «Человек он, конечно, темноватый, – замечает он, – но, ей-Богу, не хуже других». Дальше он говорит дочери о талантливости темноватого соседа – и чувствуется, что вывод он этот делает не по прочтении какого-либо текста Нилина, а из увлечённости его устным рассказом.

Лидию Корнеевну похвала Корнея Ивановича не убедила – она и десять лет спустя упрекает своего батюшку за непонятную ей близость отношений – не помню уж, про кого она говорит из живших тогда в переделькинском Доме творчества друзей-писателей, что «лучше бы он к тебе ходил, чем Павел Нилин».

Но Лидия Корнеевна бывает на даче нерегулярно – и повлиять на отношение Деда (как называет она Корнея Ивановича) к не нравящемуся ей соседу не удаётся.

После смерти Марьи Борисовны отношения ещё укрепляются.

Не помню уж характер (и контекст) послания Чуковского отцу, но помню фразу, что он (отец) завещан ему Марьей Борисовной.

Лидия Корнеевна, тем не менее, упорствует. Это видно по её письму Алексею Ивановичу Пантелееву, близкому другу Лиды (в моей семье Лидия Корнеевна всегда называлась без отчества – Лида Чуковская). Пантелеев сообщает, что едет за границу вместе с Нилиным. Лида пишет: «...предполагаемый спутник Ваш (наш сосед) – человек престранный. Писатель отличный, человек же – решительно не разбери-бери».

Для Лидии Корнеевны оценка «отличный» весьма редкая, но даже такое признание не повернуло её в его сторону.

Возможно, говорила в ней и какая-то обида, отец мог обидеть и своим отношением к ней – без особого почтения. Через много лет он напишет

у себя в дневнике, что никто, кроме этой старой больной женщины, не проявляет сегодня настоящей смелости. Тогда же он мог быть с нею и небрежен, мог видеть в ней только дочь Чуковского – и не знать её личных качеств и заслуг».

Никак не комментируя этот отрывок, приведём ещё один фрагмент – из последующей главки воспоминаний Александра Павловича Нилина.

Прочитав описание похорон Чуковского, на которых Павел Филиппович Нилин сказал своё замечательное слово о Корнее Ивановиче, мы читаем такое:

«После речи на похоронах сдалась и Лидия Корнеевна.

Теперь на годовщины (в день рождения Чуковского, на его переделкинской даче проходили памятные встречи – *П.К.*) отец приглашался с той же регулярностью, как было при жизни Корнея Ивановича. И у той публики, что собирала Лида, он проходил неплохо. Толя Найман, во всяком случае, пересказывал мне потом реплики, бросаемые отцом за столом, оценивая их как остроумные.

Но в какой-то из разов, когда приглашённый Лидией Корнеевной отец подходил уже к воротам дачи Чуковских, он *обратил внимание на большее, чем обычно, количество машин с дипломатическими номерами* (выделено мной – *П. К.*) – и всегдашняя его осторожность взяла верх, на приёмы к Лидии Корнеевне он ходить перестал, вскоре вновь утратив к себе интерес либеральной общественности».

Не останавливаясь на интонации некоторых оборотов: «у той *публики*, что собирала Лида», «приёмы», «либеральная общественность», – обратим внимание на это «*большее, чем обычно* количество машин с дипломатическими номерами» у ворот дома Чуковского.

Очевидно, предполагается, что читатель должен помнить: через несколько лет после смерти отца Лидия Чуковская была исключена из Союза писателей СССР за правозащитную деятельность. И, конечно, на памятные встречи по случаю дня рождения Корнея Ивановича к ней приходила та самая «либеральная общественность» и, конечно, должны были приходиться какие-нибудь иностранцы – корреспонденты зарубежных изданий, атташе посольств и т.д.

А почему бы и нет, – ведь её открытые письма передавали по «Голосу Америки», по «Свободе»...

Ну не зря же тогдашний председатель КГБ Андропов докладывал осенью 1973 г. в ЦК КПСС: «Из оперативных источников известно, что для встреч с иностранцами [Чуковская] использует дачу Литературного фонда Союза писателей СССР в посёлке Переделкино, выделенную в своё время К. ЧУКОВСКОМУ. Для закрепления права пользования дачей за собой на

будущее ЧУКОВСКАЯ добивается превращения её в литературный музей отца, рассчитывая стать его директором. В последние дни получены данные о том, что ЧУКОВСКАЯ предложила проживать на даче в зимний период СОЛЖЕНИЦЫНУ, который дал на это предварительное согласие. С учётом изложенного считаем целесообразным предложить секретариату Союза писателей СССР отказать ЧУКОВСКОЙ в создании музея в посёлке Переделкино».

Не стану даже размышлять о том, откуда взялось это *«большее чем обычно»* количество машин с дипломатическими номерами, не стану думать – аберрация это или очередная мифология, и если мифология, то, какого она свойства и т.д.

Я просто хочу сказать, что я *никогда и никому* – из тех, кто доверился этому эпизоду с иностранными автомобилями – не смогу объяснить, что этих машин у ворот чуковского дома просто *не могло* быть, и уж тем более – *«больше чем обычно»*.

Никому и никогда.

Проблема здесь, вероятно, не только в коварном свойстве человеческой памяти, но и ещё в чем-то.

* * *

В 2007 году режиссёром Дмитрием Томашпольским был снят четырёхсерийный фильм «Луна в зените» – «по мотивам неоконченной пьесы Анны Ахматовой «Пролог, или Сон во сне». *Пожилую* Ахматову в этом фильме сыграла Светлана Крючкова. Фильм и актёры получили ряд призов, потом картину показали по ТВ и через некоторое время в «Новой газете» появилось недоуменное письмо дочери Лидии Чуковской – Елены Цезаревны.

Редакция газеты это письмо сократила, я же приведу его целиком, цитируя по сайту «Отдав искусству жизнь без сдачи».

«Анну Ахматову я помню с раннего детства, с 1938 года. Когда её в годы войны вывели из блокадного Ленинграда, она приехала в Чистополь к моей матери, Лидии Корнеевне Чуковской, и потом вместе с нами проехала всю Россию до Ташкента.

Бывала она у нас и в послевоенные годы.

Лидия Корнеевна хранила в памяти её стихи, которые в те годы нельзя было даже записать, помогала Анне Андреевне при составлении её сборников. Сохранилась надпись Ахматовой на её последнем прижизненном сборнике «Бег времени»: «Лидии Чуковской мои стихи, ставшие нашей общей книгой. Дружески. Ахматова. 7 октября 1965. Москва».

После смерти Анны Андреевны Лидия Корнеевна, которая всю жизнь вела дневник, стала приводить в порядок свои записи об Ахматовой. Работа затянулась на три десятилетия и не была полностью опубликована при жизни автора.

«Записки об Анне Ахматовой» в 3-х томах вышли посмертно в 1997 году (первый том появился за границей в 1974 г.).

В дни ахматовского юбилея, я посмотрела по телевизору фильм о ней «Луна в зените». Увиденное меня неприятно удивило. В фильме под именем Лидии Корнеевны фигурирует какая-то странная личность, то ли камеристка при знатной госпоже, то ли фанатка-поклонница при поп-звезде. Ахматова иногда говорит ей величаво: – Запишите. А Лидия Корнеевна подползает к ней и целует руки, как институтка из романа Чарской.

Видно, что сценарист и режиссёр знакомы с «Записками». Фразы и сюжеты, заимствованные оттуда, встречаются на каждом шагу. Словами из «Записок» говорит не только сама Ахматова, но и жена Пунина. Одним словом, беззастенчиво пользуясь трудом автора «Записок», создатели этого фильма считают возможным игнорировать этого автора, представлять его в окарикатуренном виде.

Начать с того, что Лидия Корнеевна была очень высокого роста, а изображающая её актриса (Ирина Соколова, по аттестации «Российской газеты» – «любимица петербургских театралов» – П.К.) – низкорослая. Эта актриса, по-видимому, не открыла ни одной из книг Лидии Чуковской, не посмотрела ни на одну её фотографию, одним словом, изображая вполне конкретного человека, не потрудились воссоздать его облик. Остаётся только гадать, проделано ли все это с умыслом или по невежеству.

Гадать бесполезно. Все уже проделано. В фундамент определённой мифологии (бездарно выраженной, как я могу свидетельствовать) по умыслу или по невежеству уложен ещё один кирпич.

* * *

К началу 2014 г. из печати вышло 11 томов собрания сочинений Лидии Чуковской. Вместе с «Записками об Анне Ахматовой» дневниковые записи занимают в этом собрании *четыре* тома (11-й по времени выхода из печати том под общим названием «Из дневника» недавно вышел вторым изданием).

В новом веке объёмными книгами изданы переписки Чуковской с отцом, Давидом Самойловым, Л. Пантелеевым (все – издательство «Новое литературное обозрение», соответственно 2003, 2003 и 2011 гг.); в альманахах и журналах – с Александром Солженицыным, Виктором Жирмунским, Исайей Берлиным...

Прочитаны ли эти книги, эти дневники и эпистолярии кем-то, кроме специалистов и заинтересованных литераторов/критиков, вроде Романа Тименчика или Самуила Лурье? Не знаю.

А о ней, этой «служебной литературе» Лидии Чуковской стоило бы, действительно, говорить отдельно.

О сложном и одновременно прозрачном образе человека, встающего за ними.

О беззащитной, одинокой и возвышенно-чистой душе.

О той, многолетняя земная судьба которой оказалась синонимична таким простым и обесцвеченным ныне понятиям, как «служение» и «долг».

Об образе, выпадающем из любых мифологий, – как и всякого *живого*, а не придуманного человека.

* * *

Решусь закончить эти мои «переделкинские кроки» двумя цитатами.

Одна из них – это очень личная дарственная надпись-послание (почти эпистолярного свойства), а другая – стихотворение, своего рода, *письмо*. Письмо – на *тот свет*, в другой мир, написанное человеком, считающим себя неверующим, и относящимся ко всякой религиозности с недоумением.

Сначала, прошу меня великодушно простить – фрагмент дарственной надписи автору настоящих заметок – на журнальной публикации 2-го тома «Записок об Анне Ахматовой» («Нева». 1993. № 4):

«...с пожеланиями успехов на трудных путях и перепутьях российской словесности – с предупреждением, что все пути и перепутья невыносимы, безрадостны, не дают ни покоя, ни счастья, ни при каких обстоятельствах – даже в случае удачи – и всё же... раз ступили – уже никуда не денетесь. Продолжайте! Л. Чуковская. 15.IX.93».

А теперь приведу любимое мною стихотворение 1947 года, написанное Лидией Корнеевной почти через десять лет после уничтожения сталинским режимом гениально одарённого Матвея Бронштейна (1906–1938).

...Он был астрофизиком, специалистом по квантовой гравитации.

Он был мужем Лидии Чуковской.

Именно к нему она и обращается в этом своем тихом, исповедально-лирическом послании:

*В один прекрасный день я все долги отдам,
Все письма напишу, на все звонки отвечу,
Все дыры зачиню и все работы сдам –
И медленно пойду к тебе навстречу.*

*Там будет мост – дорога из дорог –
Цветущая большими фонарями.
И на перилах снег. И кто б подумать мог?
Зима и тишина, и звёздный хор над нами!*

* * *

Со дня кончины Лидии Корнеевны Чуковской (1907–1996) прошло без малого двадцать лет. В день её похорон в Подмосковье выпало много снега.

Геннадий Беззубов

Стихи последних лет

* * *

Что-то ели, что, не помню точно,
И ко сну стелили на полу.
Раскладушек лежбище непрочно,
Вот и тянет спрятаться в углу,

Там, откуда видится иначе
Черное ветвление аллея -
То ли ночь на незнакомой даче,
То ли пристань утлых кораблей,

Но не дом, не крепость, не защита,
Не форпост, где год идет за три.
Только ночью, вне семьи, вне быта
Этот голос восстает внутри.

Что ему до девок и футбола,
До соседских вороватых рыл -
То ли зуд, то ль жжение глагола,
Как вчера учитель говорил.

Рассвело, и он уже невнятен,
И опять не держится в руке
То, что там, в чередованьи пятен,
Вяжущих узор на потолке.

ПОЛОНЕЗ ОГИНЬСКОГО

Неужто Михал Клеофас
Не оглянулся бы на нас,
Заслышав здесь, на перекрестке

Свой опус, кровный и живой? -
Да, да, вот здесь, на мостовой
Его и пилят на расческе.

Верней, конечно, на пяти
Бренчащих струнах. Не найти
Следов, ни выхода, ни входа,
Куда мелодию ведут,
Где обрывается маршрут –
Так достигается свобода.

Он был бы сильно удивлен –
Здесь, на скрещении времен,
В глуши, восточнее Востока,
Где саз перебивает уд,
Такой ли музыке дают
Сознание ворошить глубоко?

Как ни дивись, но это так.
Всей страсти, может, на пятак,
Да послевкусье слишком длинно...
Суша теория. мой друг.
Привычный размыкая круг,
Не умолкает мандолина.

* * *

Что помнится? Какие-то куски.
Так гвозди выпадают из доски,
Так мебель рассыхается на части,
Так зарастают лебедой дворы,
Так страны в тень уходят до поры,
До наступленья неизвестной власти.

Да, память – избирательная вещь,
И ты в других не остаешься весь,
А по частям, как на полотнах Брака,
И ты ли это, ясно не вполне,
Хотя портрет, висящий на стене,
Отсвечивает отблесками лака.
Как ни гляди, картина неполна.

Такая жизнь, такие времена,
Такая память – выбросы, пустоты,
Провалы, где зияет темнота
И если есть доступные места,
Оттуда не дойдет созвучной ноты.

КИТЛ

Этот белый халат подошел бы врачу
В пятидесятых, где-нибудь на Печерске,
В виду Мариинского дворца,
На Печерске, где мы никогда не жили,
Разве что наезжали к родне
На троллейбусе, с дальней Шулявки,
Мимо моста, мимо нового цирка,
Позади оставляя новый базар,
Каштаны бульвара, полированный памятник,
Кричащий вокзалу: «Прощай!»,
Не раскрывая рта,
Чтоб не уловили акцента.
Какого? Вы знаете идиш?

Этот белый халат подошел бы хирургу.
Сейчас нас режут в зеленом,
А тогда было принято в белом,
И отец мечтал увидеть сына
Именно в этом наряде,
С растопыренными руками -
«Скальпель! Пинцет! Зажим!», ну,
Что там дальше? Не помню.
Главное – не бледнеть при виде крови,
А он и по сей день не бледнеет,
Хотя не стал ни хирургом, ни шойхетом, ни убийцей,
И если к пролитию крови причастен,
ТО разве что косвенно. Ну как все.
А как – все?

Белый китл отцу моему не достался.
Нет, одно время он носил китель
Офицерский, с погонами лейтенанта,

но не углядел здесь связи,
Хотя эта связь очевидна.
Носил и халат работника общепита,
Тоже белый и сравнительно чистый -
Сам ведь ничего не готовил,
Лишь указывал, как это делать,
В том числе и своей невестке -
Излагал рецепт легендарной рыбы,
Подлинной, не из банки.

Голова этой рыбы была объектом,
Означающим некое превосходство,
Хотя вслух это не говорилось.
Когда он садился «разбирать голову»
С сосредоточенностью хирурга,
Это было зрелище не для слабонервных.
Когда он рассуждал о Судном дне,
Исторгая глаголы типа «постить»,
Лишенные возвратных частиц,
Становилось ясно, что прошлое безвозвратно,
И что в картине не хватает детали -
Чего-нибудь белого, пятна, что ли,
Нет. не скатерти, не салфетки,
На нее ведь обязательно капнет.

В Йом-Кипур нет и речи о рыбе,
И вообще о еде нет речи,
Рыбью голову уже съели,
Чмокая, обсасывая кости,
Становясь не хвостом, а головою,
Стеклenea взглядом от вожделенья.
Теперь другое время,
Надо от всего освободиться,
Надо обрести легкость,
Чтоб слова падали, как капли,
На общее поле.

В Йом-Кипур, затянутый в белый китл,
Я каюсь в грехах народа,
Молю о себе, о жене, о детях и внуках

(Хотя в Йом-Кипур не бывает «я», только «мы»),
О душе отца тоже, хотя это – другое,
Для этого есть день смерти,
Но в этот день мы не ходим в белом,
А в Йом-Кипур все в белом.
Гул молитвы то растет, то стихает,
Капают дальние отголоски
В тишине неправдоподобной,
И прощальный шофар выпадает каплей
На белом, на белом.

* * *

Тяжелых штор, нечистых полотенец,
Не по сезону траурных пальто
Не замечает бывший отщепенец,
Не враг народа, попросту никто.

Рожденный там, где не бывает лета,
Где только лед да чахлые кусты,
С пластинкою, которая запета,
Он до сих пор общается на ты.

Она поет: «Другой такой не знаю»,
Он отвечает: «Разве это мы?»,
И все он где-то там, поближе к краю,
Как-будто и не вышел из тюрьмы.

И что с того, что не хватает слуха,
Он знает – в этом нет его вины,
И снова подпоет, набравшись духа,
Хотя слова, по сути, не нужны.

Молчи, молчи, постылая эпоха,
Не пой нам песен юности глухой,
Простимся без слезинки и без вздоха,
Пусть и уживались мы неплохо
С высокопарной этой чепухой.

* * *

А перед ним бежали братья Гримм.
Куда? Зачем? Да кто же знает это.
А лес стоял, тяжел и недвижим,
И черен, в ожидании рассвета.

Они бежали в лес, туда, где спал
Сюжет бродячий, с пожиранием тела,
Чтоб разбудить его, чтоб он восстал,
Пока опушка снов не поредела.

Он узнавал немецкий легкий бег -
Бегут все трое, и под ними снег
Так остается чист и так нетронут,
Что хочется свалиться на ночлег,
Покуда персонажи не застонут
Перед рассветом – мол, вставать пора,
Не то разбудит смутная пора.

А сверху видел все Бог-Нахтигаль,
Он отпускал и снова настигал,
И вслед свистел, и длительность погони
Нисколько не была ему важна.
Завис он над Шварцвальдом, как луна,
Как тонкий серп на мутном небосклоне,
И это было на исходе сна.

Проснись! Проснись! Неужто дело в том,
Что писаны готическим шрифтом
Все эти чащи, мельницы, овраги,
Все эти клочья, ярусы, слои
И лес, что не отбрасывает тени,
Торчащий в непременно забытии,
Как вырезка из крашеной бумаги,
И эти, там бегущие во тьме,
Выбрасывая высоко колени,
Забытые, постылые, ничьи,
Не знающие истины и цели...
Остановиться просто не умели,
И это все, что держится в уме.

* * *

Он здесь бывал, еще агентом тайным,
А вот теперь приехал президентом,
С визитом непростым и неслучайным,
Воспользовавшись выпавшим моментом.

А толку что? Гулять вне протокола
Не разрешат, и не пойдешь с охраной
По городу – то стадион, то школа,
И номеров порядок очень странный.

Ему бы вспомнить эти переулки,
Их женский запах, сложный и влекущий,
Сбивавший с толку при любой прогулке...
Как это называлось – праздник Кущей?

Вот и сейчас, похоже, праздник этот,
Когда надстройки лезут друг на друга,
И длится без конца чужое лето,
Как день для алкаша, что спился с круга.

Хоть издали, хоть из окна машины
Увидеть этот дом, и можно снова
На раутах смеяться без причины
И уходить, не говоря ни слова,

Но помнить всю картину, где уместна
Деталь любая – ну, хоть эта кошка,
Да жалюзи, торчащие отвесно,
Да манекен, глядящий из окошка.

* * *

Главный Автор, точный гений,
Он не каждому знаком.
В темных водах сочинений,
Что там водится тайком?

Что за рыбы, что за птицы,
Что за подлый мелкий люд?

И с какой такой страницы
Букв на это наклюют?

Разнесут их по дорогам,
Чтоб язык погуще рос,
Восходил высоким слогом,
Цвел на пачках папирос,

Шелестящий, как папирус,
Или звонкий, как паркет,
Словно и не здесь он вырос –
Где-то там, где нас уж нет.

Только суть темнее ночи,
как в тоске ни морщи лоб.
Сочинить бы покороче,
Чтобы внятней было, чтоб

Главный Автор был утешен,
И за ширмою ночной
Умехался, бесконечен,
Тихо стоя за спиной.

Нина Турицына

ЛИШНИЙ КЛЮЧ

Двадцать лет прошло, а точно помню, как мне не хотелось тогда ехать «Вступать в права наследства».

Теперь-то, через столько лет, хочется думать: а ведь не подвела интуиция, были предчувствия, что это дьявольское наследство доведёт меня до нервного срыва, до болезни, почти до развода.

Ещё бы! Целый город улюлюкал мне вслед, за спиной я слышал свистящий шёпот:

– Сссмотри! Насследничек! Родственничек! Того ссамого!

Месяц назад меня, едва исполнился 61, проводили на «заслуженный отдых». Не то чтобы я стал такой бесполезной единицей в своей лаборатории, где когда-то был и заместителем заведующего, а просто дышали в затылок и наступали на пятки жаждущие занять моё место дописы и сыписы, или, перефразируя известное сокращение Марии Арбатовой, доначи и сыначи.

Видя, как я маюсь от безделья на диване, жена предложила:

– Мемуары бы писал...

– Кому они нужны?

Но – мысль засела. Пустила бледные корешки. А там и росток проклюнулся.

Этого дядю Колю я впервые увидел – нет, видел, наверно, и раньше, но не запомнил –

в 1 классе.

В последний день мая я гордо нёс домой похвальную грамоту, книгу Пушкина «Сказка о царе Салтане» и двух маленьких жёлтых цыплят в коробке.

Грамоту и книгу давали только отличникам, а цыплят... Наверно, дорогой Никита Сергеевич Хрущёв распорядился выдать их каждому школьни-

ку страны на подъем сельского хозяйства и на приобщение с посильному труду и биологическим наблюдениям. Дома меня встретили мамы поочередно восторженные, а затем испуганные возгласы, по мере того как я извлекал свои подарки. На её вскрики из комнаты вышел парень с лихим чубом и весело поинтересовался:

– Что за шум, а драки нет?

И следом без перерыва:

– Ну, здорово, племяш!

Он протянул мне руку. Я, стесняясь, подал свою, и тогда он резко поднял меня в воздух. Я не знал, плакать мне или смеяться, и он подсказал:

– Не дрейфы!

И тут же добавил, то ли обращаясь «на Вы» к маме, то ли к нам обоим:

– Вы цыплят не бойтесь, кошки у вас нету, ничего с ними не случится. Вырастет прекрасное мясо.

– Мне велели их осенью в школу принести! – запротестовал я с ужасом от его предложения.

– Ах, вот оно что... Выходит, расти, да не смей унести!

В перерыв отец обычно приходил домой, если только не было аврала или срочной работы.

Он обрадовался, увидев брата, и оглядывая его невысокую, но ладную фигуру, с гордостью повторял, обращаясь к маме:

– Нет! Ты посмотри, каков!

Потом мы обедали, а после пили чай с дядиколиным тортом и конфетами, и я чувствовал, что покорен, что счастлив, что не хочу расставаться.

Вечером после работы папа начал более серьезный разговор:

– Ну, Коля, расскажи, как служил, какие планы на будущее? А ведь после Армии охотнее берут в институт...

Это, как я потом понял, он намекнул на то, что сразу после школы Коля в институт не попал – не прошёл по конкурсу.

Но Коля отшутился, хотя не очень весело:

– Да какой институт! В голове один устав да матчасть автомата!

– Ну и что! Мы с тобой позанимаемся пока, до вступительных экзаменов время ещё есть.

Мама сидела молча, не вступая в разговор ни на чьей стороне, что можно было расценить...

Да как угодно можно было расценить!

И дядя Коля завершил одной фразой:

– Не хочу позориться!

А потом добавил:

– Может быть, на следующий год...

– Ну, как знаешь. А я со своей стороны, – для брата всегда!

На этом и завершили, пока.

У нас тогда были две смежные комнаты, но во вторую вход был сбоку, и это давало некоторое преимущество в планировке.

Один угол отгородили посудным шкафом под кухню, там стояли новенькая газовая плита и раковина с водопроводным краном.

Меня отправили спать в комнату родителей, а мою кровать в проходной комнате предоставили гостю.

Дядя Коля прожил у нас тогда недели две. Папа наставлял его на правах старшего брата. Некоторые его наставления я помню до сих пор.

– Прошу тебя, не вздумай сразу жениться.

– Да ну, скажешь... На ком?

– Может, с кем переписывался? Так и женятся на первой встречной после армейской голодухи. А ты сначала на ноги встань! И вообще, так тебе скажу: чем позже мужчина женится, тем более молодую жену может себе взять.

И папа любовно посмотрел на маму, которая была моложе его на пять лет.

Мне почему-то хотелось думать, что мы подружились с дядей Колей. А почему бы нет? У меня с ним была такая же разница в возрасте, как у него – с моим отцом. На его весёлые подначки я смотрел, как на вполне дружеские. Он умел обращаться не свысока. Мы боролись, вроде в шутку, но он учил меня кое-каким приёмам, мы гуляли по городу, и он находил интересные места, которые сам любил в детстве, он водил меня в кино.

Папа предложил устроить его на свой завод, но у дяди Коли были уже, оказывается, намечены планы. Он сказал, что получил в армии права и шоферить ему нравится больше, чем стоять у станка и что он только ждёт письма от армейского друга, который обещал помочь с устройством на своей автобазе, где сам работал до армии.

Дядя Коля наведывался на Главпочтамт и однажды явился довольный: друг не подвёл, прислал письмо-приглашение. Будет, пишет, и работа хорошая, и общежитие.

– Это рядом, в соседней, Челябинской области, – комментировал он нам строки из письма, а на папино предположение даже оскорбился, – Не городишко, а город! Друг пишет, что он-то раньше и был областным центром!

Мама хлопотала с прощальным ужином, а папа опять наставлял:

– Не кури. Не пей. После работы занимайся, я тебе дам свои учебники, повторяй материал! На будущий год приедешь поступать. Договорились?

– А вот возьму и приеду! Не прогоните?

И через год он приехал!

Но выполнил только один из папиных наказов: жена, которую он привёз с собой, была моложе его на пять лет.

Молоденькая смущающаяся девчонка только прошлым летом окончила школу и работала у них на автобазе диспетчером.

Она больше молчала, но когда папа спросил дядю Колю о планах, в частности, о поступлении в институт, она как-то по-особому посмотрела на мужа, и дядя Коля с удивительной интонацией – одновременно виноватости и гордости – ответил:

– Нам должны осенью комнату дать...

И в тон ему, то ли одобряя, то ли осуждая, папа протянул:

– Да... Понятно...

Приехали они и на следующий год.

Дядя Коля уже говорил меньше, больше жена. Она рассказывала, как они обставили свою комнату, какой достали замечательный секретер (она произносила: сэкрэтэр): крышка опускается и получается письменный стол. О поступлении в институт разговор уже не заходил.

Приезжали они ещё несколько лет, а потом дядя Коля, и так редко писавший, замолчал совсем.

Я тем временем окончил школу, поступил в институт. Я уж и забыл о дяде Коле, как вдруг однажды зимой он оказался на пороге нашей новой квартиры. Родители были на работе, а я лежал с температурой и кашлем. Мы не сразу узнали друг друга: он меня в высоком серьёзном очкарике, а я – его в постаревшем, полысевшем и каком-то простоватом мужичке. Он все-таки догадался, кто я и первым поздоровался:

– Ну, привет, племянш. Примешь?

Он как будто даже в этом сомневался и добавил, словно оправдывая свой визит:

– Вот приехал посмотреть, как вы тут, в новой квартире...

– Вообще-то мы в ней уже 8 лет живём.

– А я у вас последний раз был, когда Гагарин полетел.

Мне стало смешно. Он вёл летопись не по датам, а по событиям, как дикарь.

Но он не засмеялся в ответ, а, наоборот, обиделся. Я испугался, что он повернётся и уйдёт, а мне будет нагоняй от родителей, и поспешно пригласил его:

– Да заходите же, дядя Коля! Папа будет очень рад. Я ему сейчас на работу позвоню.

– У вас и телефон есть?

– Недавно поставили.

Папа, однако, пришёл только после работы. Они о чем-то долго гово-

рили в его комнате. Мама носила им туда еду на подносе, а из-за двери слышалось чоканье рюмок и все более громкие голоса.

– Нет! Ты представь! Какая стерва! Уж я ли не старался для неё!

– Плюнь! – слышался голос папы. – Найдёшь себе другую.

– На кой мне другая! – визгливо закричал дядя Коля, но словно опомнившись, поправил себя, – Да хоть бы и какая...

– Радуйся, хоть детей нет. Такой бабе – ещё алименты платить?

– Может, были бы, если б не гуляла,...

Мама выразительно посмотрела на меня, приложила палец к губам и велела немедленно ложиться спать:

– Ты болеешь. Тебе надо сил набираться. Сухой горчицы в носки, и постарайся заснуть.

Моя мама была лучшей женщиной на свете, не считая жены, которая непременно прочитает эти записки, – она была умной и тактичной и знала, что не надо спорить с пьяными мужиками, проспятся – тем более завтра суббота – и сами ещё прощения попросят!

Когда папа неожиданно умер в 69 лет – заснул и не проснулся, она, никогда не устраивавшая громких сцен, а после столь же громких примирений, всегда ровная и сдержанная, не смогла, однако, прожить без него и года и утасла без всяких видимых причин. Папа умер сразу после новогодних праздников, а её мы похоронили в октябре.

Дядя Коля приезжал на похороны отца. Он выглядел суровым, почти все время молчал и даже за поминальным столом, когда ему, как ближайшему родственнику, первому предоставили слово, сказал всего одну фразу:

– Осиротел, осиротел второй раз, ведь он для меня был вместо отца.

Их отец – мой дед – не пришёл с войны.

Было немного странно слышать это из уст мужчины, которому далеко за 50, но сказано это было с такой искренностью, что все сочувственно закивали.

И вот всего два года спустя ушёл и дядя Коля...

Как он жил? Отчего умер? Кто его хоронил?

Мы в это время всей семьёй отдыхали в Ялте, и телеграмму нам вручили соседи по приезде.

Я посмотрел на дату.

– Мы опоздали на три дня.

Пока раздумывали, ехать на 9 или лучше на 40 дней – сразу и памятник заказать на уже

к тому времени немного осевшую могилку, пришла и вторая телеграмма о вступлении в права наследства.

И вот тут меня неприятно кольнуло: что подумают соседи и сослужив-

цы, простые шофёры с автобазы, – на похороны не приехали, а за наследством примчались!

Да и какое уж там наследство?

Мы были в гостях у дяди Коли всего один раз, когда он ещё жил в той комнате с «сэкрэтэром». Обстановка была небогатой, места было мало, и мы, погостив несколько дней, поспешно ретировались.

Что у него могло быть теперь, после давнего развода и стольких лет одинокой жизни? Какая-нибудь однокомнатная хрущоба? Приватизации тогда ещё не было, а заниматься её обменом на Уфу – стоит ли овчинка выделки?

Пришлось, однако, ехать по указанному в телеграмме адресу, не дожидаясь ни 9, ни 40 дней.

Прямо с железнодорожного телеграфа я послал ответную телеграмму, что выехал.

Это оказалась окраина города, куда ходил всего один рейсовый автобус, но то, что я увидел на этой почти деревенской улице, превзошло все мои ожидания. Там высились в ряд двухэтажные коттеджи, и их монументальность и значительность не могли скрыть даже высокие заборы. Что здесь делал дядя Коля? Работал у кого-то из новых хозяев жизни личным шофёром или сторожем и жил во флигельке?

А вот и нужный дом. Я сверился с адресом. Из-за железных ворот меня облял пёс, а в щель для почты долго разглядывал чей-то глаз. Наконец я был допущен.

Пожилой мужчина, старавшийся казаться важным и значительным, торжественно произнёс, проверив мои документы и повертев в руках телеграмму, что может пригласить меня в дом и объявить волю покойного. Тон его разговора и манера держаться возымели, однако, действие: я не задал ни одного вопроса и не произнёс ни единого слова. Так мы прошли по дорожке, обсаженной молодыми деревцами, и я приноравливался к его медленным шагам.

Он открыл тяжёлую дверь, но не пропустил меня вперёд, а только придержал её для меня. В передней – точнее назвать её холлом – слева были вешалка для одежды, сейчас пустая и большое зеркало. Впереди – лестница, ведущая на второй этаж и две двери – одна слева, другая справа. Он прошёл налево в большую комнату с овальным столом и предложил сесть.

Я ждал, что хозяин вынесет мне прощальное письмо дяди, которое он почему-то назвал завещанием и покажет мне флигельк, где дядя жил или назовёт его городской адрес. Но он вернулся с какой-то официальной бумагой и только тогда представился, присаживаясь напротив меня за столом:

– Я личный нотариус Николая Владимировича. А это его завещание. Можете ознакомиться.

Я пробежал глазами бумагу и прямо сказать, мало что в ней понял. Точнее, не смел понять.

Заметив моё недоумение, мой визави подтвердил, профессионально выдержав паузу:

– Теперь это всё – Ваше.

– Подождите! – воскликнул я – Но почему он решил написать завещание? Ведь ему всего – я подсчитал в уме – 56 лет! Он что, болел?

– Нет. Просто остановка сердца. Во сне (как у моего папы – невольно подумал я). А почему написал? – тут он гордо приосанился. – По моему совету! Вот Вы, например, теперь не будете бегать, не будете никому ничего доказывать.

Как только разрешили кооперативы, он, один из первых в нашем городе, организовал свой. Сначала привозил из рейсов туалетное мыло (помню, помню, и у нас с этим мылом была напряжена), а потом на появившиеся деньги арендовал несколько станков на местной швейной фабрике. Там ему шили какой-то ширпотреб. Раскрутился немного, но тут начальник цеха начал чинить ему препятствия. Обычное дело! Конкурентов не любят! А он во всех этих тонкостях законодательства, как Вы понимаете, не очень разбирался. Тут я ему и помог!

Я чуть не спросил: Он Вас нанял?

Но промолчал, а он продолжал, уже доверительно:

– Я не представился. Меня зовут Николай Николаевич. Да, мы ещё и тёзками с Вашим дядей оказались! Так вот, с этим начальником цеха нам (он так и сказал: нам) надоело постоянно воевать. Он, например, отключит электроэнергию. Потом, после жалоб, восстановит, конечно, но время-то идёт! А время – деньги! И я предложил Николаю Владимировичу обменять свою однокомнатную квартиру в центре на дом здесь, на окраине.

– Зачем?

– В однокомнатной хрущёвке самому повернуться негде, а в доме – можно этих же мотористок посадить, и пускай себе шьют. А документы правильно оформить – моя забота. Николай Владимирович так и сделал. А потом тот домик под снос пошел, а вместо него вырос этот особняк!

Он горделивым жестом пригласил меня полюбоваться. Всем своим видом он показывал, что надеется на вознаграждение: ведь и идеи его, и предусмотрительность, и мне никаких хлопот! Я прервал поток его красноречия, сухо попросив:

– Я бы хотел посетить кладбище.

– Конечно, конечно. Если Вы не устали с дороги.

– Не устал. Как можно вызвать такси?

– Так по телефону! Он буквально за несколько дней до смерти устано-

вил себе телефон. Вот, пожалуйста, пройдите. Я назову Вам номер, по которому можно заказать.

От важности он незаметно перешёл к услужливости. А я человек прямой и этого не люблю. И когда он предложил ещё и сопровождать меня на кладбище, я отказался. Он пожал плечами:

– Как хотите. Хотя – я Вас понимаю.

Мне стало немного неловко, и я добавил:

– Мы не прощаемся.

– Ни в коем случае! – обрадовался он.

– Надеюсь увидеть Вас завтра, – завершил я разговор.

Он понял и засуетился:

– Сейчас я принесу Вам ключи.

Он вынес целую связку.

– Так много? – удивился я, – Что от чего?

– Я тут не жил. Просто сегодня по Вашей телеграмме ждал Вас. Знаю, что вот этот, большой, от ворот, этот – от калитки. Вот эти – от входной двери – верхний и нижний замки. С остальными, думаю, сами разберётесь!

Мы вышли вместе, и часть пути проехали тоже вместе, только он вышел в центре, а я поехал далее, на кладбище.

Там служитель показал, как пройти. Я постоял перед грудой венков и почему-то перекрестил её три раза. Подошёл на обратном пути к служителю и спросил, где можно памятник заказать.

– Так рано ещё. Могилка не осела. А похороны его я помню...

Я сунул ему в руку купюру и поехал обратно на том же такси. Сел и горько усмехнулся, отвернувшись, чтоб водитель не заметил: Быстро же я начал приобретать замашки богача!

Попросил остановиться возле хорошего гастронома, купил выпивки, закуски.

– Зайдём. Помянем.

Он не отказался, только пить не стал, лишь чуть пригубив рюмку:

– Я за рулём.

Проводил я его, закрыл за ним ворота и погрузился в невероятную тишину, какой не бывает в городе. Ниоткуда не доносилось ни звука.

Я поднял рюмку и сказал в пространство:

– Земля тебе пухом, дядя Коля.

. Я вдруг подумал, что, возможно, он слышит меня. Душа ведь не покидает родные места ещё 40 дней, пока не отправится в путь, откуда нет возврата.

Чем дольше я сидел, тем хуже мне становилось. Грусть переходила в

печаль, печаль – в неясную тревогу. Надо чем-то занять себя, иначе так захлестнёт, что ночью не заснёшь! Я, помню, с каким-то мистическим ужасом подумал о предстоящей ночи в этом огромном одиноком доме.

Нет, нет! Надо что-то делать! Да хоть дом посмотреть и ключи примерить, чтобы на ночь все двери запереть. Да кстати, и пса накормить. А ключку его забыл спросить ...

Я вынес ему остатки с наших тарелок и, расщедрившись, бросил ещё кусок колбасы. Пёс оказался не очень голодный! Он не спеша понюхал и принялся за еду, словно делая мне любезность или одолжение. Я встал неподалёку, но на шаг дальше длины цепи и принялся его хвалить. Разговор с псом, который отвечал довольным чавканьем, немного успокоил меня.

Я достал из кармана связку ключей и подошёл к воротам.

Так, что я запомнил? Этот от ворот, этот – от калитки. Запер их на два оборота. Оглянулся на дом. Здесь, на открытом воздухе, было не так мрачно. В небе носились стрижи, в кустах жужжал шмель.

Мысли мои приняли практическое направление. Квартиру нужно было бы обменивать, а дом можно просто продать. Правильно ему этот нотариус подсказал! Зря я с ним так... Завтра надо будет заглядить, пригласить его в ресторан. Да, теперь и поминки на 9 дней придётся сделать. Неудобно просто так отсюда уехать.

Надо будет заказать переговоры, рассказать о наследстве, объяснить всё жене. Пусть на работу ко мне съездит. Но там о доме пускай лучше промолчит! К чему мне чужая зависть! Своей-то никогда ни к кому не было. Просто сообщит, что задерживаюсь на похоронах – дядя был одиноким, улаживать и устраивать больше некому, что возьму отгулы за свой счёт – отпуск-то уже истратили.

Решил обойти дом по периметру и посмотреть, нет ли чёрного хода, заперт ли он.

От парадного крыльца я пошел вправо, обогнул круглый эркер на углу и оказался на западной стороне. Заходящее солнце било в окна, и розовато-оранжевый свет разливался вокруг. Следующая сторона, противоположная фасаду, тоже была залита солнцем – это был юг.

Никакая не мистика, – успокаивал я себя, – просто в гостиную мрачновато без солнца.

Интересно, где у него была спальня? Хорошо бы на восток – ближе всего к природе и её естественным ритмам. Хотя – какая мне разница. Понятно, что жить здесь, в чужом городе, не будем. А переночевать несколько ночей – не все равно! Так... Неужели я буду спать в той самой спальне, где он умер во сне? Нет уж, надо подыскать себе в доме другое место.

На тыльной стороне, прикрытая разросшимся плющом, обнаружи-

лась «маленькая железная дверь в стене», ну прямо из повести Катаева о ленинских полуконспиративных квартирах! Я примерил к ней несколько ключей из связки, запутался и стал примерять заново, придерживая уже использованные. Наконец один подошёл. Я отпер таинственную дверь и очутился в тёмном коридоре. Пошарил по стене, нащупал выключатель. Коридор залило мягким светом. Я сделал несколько шагов и прислушался. Нет, показалось. Это мои собственные шаги так гулко отдаются в тишине – пол из плит, ни коврика, ни дорожки. Справа шла глухая стена, а слева были две двери. Заглянул в первую. В пыльной комнате стояли две ножные электрические швейные машинки и лежали тюки. На окнах не было ни занавесок, ни жалюзи, и в лучах солнца заплясали пылинки, поднятые дуновением из открывшейся двери. В двери был замок, но явно им давно уже никто не пользовался. Тем не менее, я примерил несколько ключей и, заметив, который из них подошёл, вытащил из тюка кусок какой-то ткани, отрезал от него несколько полосок и, приладив их к тем ключам, которыми я уже пользовался, начертал на них ручкой, извлечённой из кармана пиджака, начальные буквы:

В (ворота), К (калитка), ПН, ПВ (парадное нижний, парадное верхний), Ч (чёрный вход), М (машинки или мастерская).

Во второй комнате ничего примечательного не было. Здесь стояли старый диван, простой стол, покрытый клеёнкой, несколько стульев вокруг него. В шкафу – без дверц, с по-старомодному раздвигающимися стёклами выстроились в ряд какие-то папки с бумагами. Я вернулся в коридор. Впереди была ещё одна дверь, а рядом с нею выключатель. На всякий случай я нажал на него. Свет в коридоре выключился, а открыв дверь, я очутился в холле. Дверь в гостиную с овальным столом и смежную с ней кухню теперь была справа от меня. Вторая в холле дверь, на противоположную сторону, привела в комнату с эркером. Это помещение выглядело намного веселей и привлекательней. Мебели тоже было немного: диван, журнальный столик перед ним, огромный цветной телевизор. Но все это было новое, современное.

Понятно, что спальня у него на втором этаже, – прикинул я. Тогда, может быть, здесь остаться на ночь? Но в полукруглое окно эркера ярко светило закатное солнце, а плотных гардин на окнах не было – только тюлевые занавески.

Эркер, который снаружи смотрелся нелепо, как опухоль, поскольку был только с одной стороны дома, здесь, в комнате, придавал ей нарядный и даже изысканный вид.

Я в раздумье вернулся в холл. О! А дверь в коридор с мастерской и старомодной комнатой, оказывается, запиралась!

В двери была не очень заметная на первый взгляд маленькая круглая

замочная скважина. Я легко подобрал к ней ключ-цилиндр и пометил на прикреплённой полоске Х (холл).

Теперь на второй этаж?

Я думал, здесь будет столько же комнат, сколько на первом. Но нет. Под двускатной крышей оказался просто чердак, переделанный впоследствии под жилое помещение. Должно быть, хозяин, строивший дом, не гадал, что когда-нибудь так размахнётся, что у него появится и второй этаж.

По обе стороны коридора, более короткого, чем коридор первого этажа, располагались одна напротив другой, две двери. За ними оказались одинаковые крохотные комнатки с окнами на фасад. В первой стояла железная кровать со старомодными шишечками, а во второй – шкаф с запылёнными и выцветшими журналами да кое-какие книги. Среди них я обнаружил даже те старые учебники, которые когда-то мой отец отдал дяде Коле для подготовки в институт. Из «Дискретной математики, учебника для техникумов» выпали тетрадные листочки с формулами и расчётами. Сколько же им лет? Вспомнилась глупая фраза из анекдота «Тридцать тли годика». Значит, все же готовился, хотел поступать? Интересно, жалел ли он, что не сложилось с ВУЗом или ушёл в материальные заботы и забыл? Жена заставила забыть... «Скоро получим комнату», «Купили сэкрэтэр».

Вот увидела б сейчас, какой он дом себе отгрохал!

Третья дверь открылась в большую и светлую комнату. Как я и предполагал, она оказалась спальней. Её единственное окно выходило на тыльную сторону. Это была, пожалуй, самая стильная комната во всем доме. У меня даже возникли сомнения и подозрения, так ли уж одинок был дядя Коля после развода. Здесь явно поработал дизайнер или сам хозяин выбирал по модным журналам. Минимализм, современность – всё то, что называется стилем хай тек. Высокие технологии. Середину комнаты занимала большая низкая кровать. Белый платяной шкаф с окном-иллюминатором справа и зеркалом слева дополняла такого же цвета прикроватная тумбочка. На окнах вместо штор были жалюзи белого цвета – не очень уютно, но кто-то сумел убедить дядю, что это модно, а может быть, что – практично?

Значит, здесь он и умер...

Да, отсюда, если почувствуешь себя плохо, не так-то легко добраться до первого этажа, где в гостиной – телефон, а вода, чтобы запить таблетки, в смежной с нею кухне. Даже если всего лишь простуда и необходимо сделать ножную ванночку – придётся таскать воду в ведре по лестнице! Не зря настоящие богачи, понимающие толк в жизненном комфорте, всегда по соседству со спальней, которая, правильно, должна быть в бельэтаже, устраивают себе ванную комнату.

Нет, здесь я точно не захочу провести ночь.

Ха! Семь комнат в доме, а я хожу и не нахожу...

Придётся все же в комнате с эркером, где есть новый диван и телевизор, но нет гардин и ещё долго в окно будет светить закат. Зато рядом, следом за гостиной и кухней с АГВ – ванная комната с удобствами.

Спальня не запиралась, а запиралась почему-то маленькая комнатка, где стоял книжный шкаф с теми папиными учебниками. Правда, сейчас она стояла незапертая, но в двери был врезан замок, и я легко подобрал к нему ключ из связки, ведь таких свободных ключей у меня осталось всего четыре. Приладил к нему тряпичную бирку и надписал Б – библиотека, хотя этот жалкий шкаф так же походил на неё, как весь дом, где были всего три более или менее прилично обставленные комнаты – на родовое поместье лорда.

Осмотр закончен. Надо спуститься вниз и помыть посуду после нашего с таксистом ужина.

А в комнате с эркером, где я решил остаться на ночь, под диванными подушками обнаружился аккуратно сложенный плед. Как кстати!

Спать вроде было ещё рано, смотреть телевизор – не было ни желания, ни настроения.

И тут вспомнил, что забыл запереть чёрный вход. Какая оплошность!

Быстро прошёл по коридору, заглянул зачем-то ещё раз в обе комнаты справа и прежде чем повернуть ключ в двери чёрного входа, вышел на заднее крыльцо.

А ведь и осмотр дома по периметру я не довёл до конца: половина южной и вся восточная, торцовая часть остались неисследованными.

После заднего крыльца, увитого плющом, шла глухая кирпичная стена. Я завернул за угол, и тут моему взору открылось какое-то строение, заполонённое разросшимися вишнёвыми деревьями. Я подошёл ближе. Это был металлический гараж, крашенный коричневой краской, что делало его похожим на сарай. Но машины у дяди Коли вроде бы не было? Во всяком случае, ни в завещании она не фигурировала, ни нотариус про неё не упоминал. В гаражных воротах прорезана дверь, а в ней – две замочные скважины. Длинный ключ с поперечными бороздками легко вошёл в верхнюю, а другой, поменьше – в нижнюю.

Дверь на хорошо смазанных петлях беззвучно подавалась, я потянул её на себя и вошёл внутрь.

Изнутри ворота запирались на толстые металлические шпингалеты. Гараж был, но машины в нем не было. Забетонированный пол, стены с пенопластом.

К стене прислонена вертикальная металлическая лестница с крючьями наверху, посередине на полу валялся большой кусок брезента, а по краям

стояли и лежали оцинкованные и эмалированные ведра с привязанными к ручкам верёвками.

Наверно, от прежнего хозяина остались. Может быть, у него в старом доме с удобствами во дворе и водопровода-то не было, а только колодец? Хотя никакого колодца я нигде пока не встретил... Я снова запер гараж и пошел дальше.

Участок у дяди был не очень большой, но запущенный. Только на парадной аллейке, ведущей от ворот к фасаду, стояли в два ряда молоденькие деревца, а дальше всё заросло побегами вишни, одичавшей малиной и глухой крапивой.

Рядом с гаражом обнаружился деревенский туалет, но аккуратно выбеленный, с бетонированным полом и лампочкой над дверью.

Я вышел на парадную аллейку, посмотрел на пса, который вполне дружелюбно помахал мне хвостом, потянулся, упираясь в передние лапы, и зевнул во всю пасть.

– Я тебя понял, я тоже спать пошел, – сказал я ему и отправился в дом, заперев двери фасада на ключи ПВ и ПН.

Остался ещё один ключ, одиннадцатый. Больше ничего ни к чему примерять не хотелось. Завтра разберусь. Не к спеху.

А сейчас – спать, спать.

Но заснуть мне не дал проклятый пёс. Он начал нестерпимо выть, как воют волки на луну, как воют псы, потерявшие хозяина.

А ведь он и стал таким псом.

Я лежал, глядя в потолок, по которому бродили какие-то тени.

– Это колышется занавеска, – успокаивал я себя, – Бояться надо, как говаривала в далёком детстве моя бабушка, не мёртвых, а живых.

Сон, однако, не шёл. Я думал о дяде, о его доме, в котором он прожил совсем немного и умер во сне. Да, как мой отец, только раньше него на целых тринадцать лет!

В таком одиноком месте сова ухнет, и то со страху обомрешь. Хотя совы вроде в городах не живут...

А странно он выстроил себе гараж! Как я сразу не заметил! Туда, если и купишь машину, никогда её не загонишь – дороги нет, все заросло так, что вырубать бы деревья пришлось. А гараж-то новый, явно не от прежнего владельца старого полудеревенского дома без удобств.

Да что я заморачиваюсь? Это же просто сарай, а то, что он из металла – ну, может быть, купил у кого-то по случаю или по дешёвке готовый ненужный гараж и привёз к себе на участок. А машину-то он, возможно, и не собирался покупать. Надоели уже эти машины за столько лет шофёрской работы!

Пёс продолжал свой нескончаемый вой, и я уже подумал, не перейти

ли мне в комнату рядом с мастерской, где продавленный диван – там хоть окна на другую сторону, но потом догадался: надо выпить рюмку-другую, и сон придёт. Так и сделал и, действительно, скоро заснул.

Меня разбудил звонок. Я кинулся было одеваться и бежать к воротам, но потом понял, что это телефон.

– Да!

– Не разбудил? – спросил осторожный голос, – Это Николай Николаевич Вас беспокоит. Мы вроде хотели встретиться. Я боялся, что Вы уйдёте...

– Доброе утро, Николай Николаевич! Нет, не разбудили. А который, кстати, час? Свои не завёл вчера, забыл, а дядины стоят... Да, жду Вас!

Он явился через час, свежий и подтянутый. Я тоже успел умыться, побриться, позавтракать остатками ужина.

– Как провели ночь? – первым делом вежливо поинтересовался он. – Слава богу, вид у Вас отдохнувший.

– Да все нормально. Здесь такая тишина. Даже непривычно. Я сумел выспаться. Хочу пригласить Вас в ресторан. Какой Вы порекомендуете, чтобы можно было там и поминки на 9 дней заказать?

– У нас в центре все вполне приличные. Проедемся, сами выберете.

Так мы и сделали. Он порекомендовал мне небольшой, но очень уютный. Сказал, что и готовят здесь прилично.

Мы пообедали, немного выпили. Решили, что я потом договорюсь о поминках, а он уточнит список гостей.

– С ключами разобрались? – спросил Николай Николаевич.

– Да, разобрался. А, кстати, что, у него была всего одна связка?

– Почему же одна? Должна быть и запасная. Вы не нашли?

– Я даже не нашёл пока, от чего один лишний ключ.

– Ну, лишнего у Николая Владимировича никогда ничего не было!

На что он намекал? На скупость или на аккуратность?

– Но не от работы же тот, лишний?

– Конечно, нет. Я же Вам сказал, что с автобазой он давно расстался, с цехом – тоже. Впрочем, там у него никаких ключей, я думаю, и не было...

– Тогда тем более странно. Ну, да бог с ним.

Но я видел, что его что-то тревожит. Наконец он решился:

– Вы меня спросили о втором наборе ключей. Но, клянусь Вам...

– Да я и не думал, что это Вы....

– Я не о том хотел сказать.

Получилось, что я все-таки подозревал его. Как неловко и неприятно! А он решительно заявил:

– Эта связка должна быть где-то у него дома. Вот Вы найдёте её при мне, и я успокоюсь.

Тон его не допускал возражений.

Я взял такси, и мы вернулись в дядин особняк.

– А какие комнаты у него запирались? – по-деловому спросил он.

Я взял связку с тряпочками. В, К, ПН, ПВ, Ч, М, Х, Б, ГН, ГВ.

– Значит, мастерская и библиотека.

– Что это? – удивился он.

– «М». Я так обозначил комнату, где стоят швейные машинки, а «Б» – это наверху маленькая комната со шкафом.

В мастерской ничего, кроме машинок и тюков, не было. Мы поднялись в библиотеку. Николай Николаевич окинул взглядом шкаф и приказал:

– Выдвигайте ящики.

Я повиновался. Наверно, он лучше разбирался, где обычно люди хранят документы и прочие важные вещи.

И точно! В одном из нижних ящиков спокойно лежал второй набор. Но в нем, когда мы пересчитали, было только десять ключей. Те же В, К, ПН, ПВ, Ч, М, Х, Б, ГН, ГВ.

– Что отсюда следует? – спросил Николай Николаевич тоном, каким мог бы задавать вопросы следователь.

– Что мне нужно извиниться перед Вами!

– Я не об этом! – отмахнулся он, – Этот набор, из ящика, был у хозяина запасным. Николай Владимирович, стало быть, им не пользовался. А вот тот, который был при нем, имел одиннадцать ключей. Значит...

– Да, в самом деле! Тогда от чего же ключ? Больше никаких дверей нет. Я не проверял только дверь от туалета во дворе.

Он усмехнулся. В это время опять завыл пёс. Николай Николаевич выглянул в окно.

– Так он у Вас так и сидит на цепи?

– А что?

– А то, что хозяин его всегда отпускал на ночь, иначе какой же смысл в его собачьей службе? Он должен охранять ночью всю территорию. А теперь ему и так тоскливо, да ещё на привязи.

– Я боюсь к нему подойти.

– Это моё упущение, я вас даже не познакомил, – сказал Николай Николаевич без всякой иронии. – А он должен понять, что теперь Вы – его новый хозяин. Спустимся же во двор!

– Джек! – позвал он, – Ну же, ну же, успокойся! Сейчас мы тебя отцепим. Ты погуляешь. Да подойдите же, не бойтесь!

Я подошёл.

– Позовите его и сами отцепите. Он оценит. Он большой умница.

– Джек, Джек! – я постарался придать голосу уверенность и значительность. – Стой спокойно!

– Лежать! – приказал Николай Николаевич.

Джек лёг.

– Отцепляйте же!

Джек все понял и терпеливо ждал. Зато как он обрадовался, обретя свободу! Победно полаял на цепь и побежал за нами, иногда обгоняя, но возвращаясь.

– Для успокоения совести взглянем на дверь туалета! – предложил мой спутник.

Конечно, она была без замка! Простой запор на вертящуюся деревяшку, и изнутри – крючок.

Недалеко был гараж. Я отпер оба замка на его узкой двери, и любопытный пёс вперёд нас сунулся туда. Внутри было довольно темно – дверь выходила на север, и её узкий прямоугольник пропускал мало света.

Пёс обнюхал ведро, чихнул, а потом лапами сдвинул край брезента.

Как будто узкая полоска света мелькнула из-под него? Или это отсвечивает снаружи?

Подожли ближе. Нет! Это был, без сомнения, электрический свет. Узкая, едва заметная его полоска.

Мы отодвинули брезент.

– Да у него тут устроен погреб! – догадался Николай Николаевич, а я облегчённо вздохнул. – Вот же крышка! Смотрите!

Да, это была крышка люка, свет шёл из-под неё. Забыл выключить, так и горело неделю.

Значит, в гараже есть освещение? Но выключатель мы почему-то не нашли, зато в крышке обнаружилась замочная скважина и последний, одиннадцатый ключ легко вошёл в неё.

Мы подняли крышку и обомлели.

У меня на мгновенье мелькнула дикая и жестокая мысль, что лучше бы я никогда не совался в этот гараж и не видел этого ужаса.

Но мы были вдвоём, и только это, возможно, позволило нам не впасть в ступор и не свалиться в обмороке.

Из глубокой ямы на нас смотрели непонятные существа.

Не сразу мы признали в них женщин, одетых в немыслимые лохмотья, страшно истощённых.

– Ты че же, забыл про нас? Жрать не даёшь. Параша переполнена, ссать некуда, – наконец раздался из ямы голос, больше похожий на карканье.

– Да это вроде не он, – перебила её вторая.

Третья, и последняя, сидела молча.

– Вон Нюшка уже не поднимается, – кивнули на неё первые две.

Я был близок к обмороку.

– Вы кто?! – не своим голосом спросил Николай Николаевич.

– Рабы! Так нас хозяин называл.

– Хозяин?

– Колян.

– Боже, – я почувствовал подкатывающую рвоту от смрада и ужаса и выскочил наружу.

– Да помогите же мне, наконец! – позвал меня нотариус.

Он уже понял, для чего здесь была вертикальная лестница с крючьями и пытался сдвинуть её с места.

Яма была глубокой, не менее двух метров, прямо под люком лежала куча песка.

А пока в неё мы установили нижний конец лестницы, и бабы по очереди полезли наверх.

Самую слабую они пустили средней, помогая ей сверху и снизу.

Нет никаких сил описывать весь тот кошмар, который устроил им дядя Коля.

Да я почти не запомнил подробностей, настолько был оглушён и подавлен.

Суда не было по причине смерти главного фигуранта, но все счастье побывать в роли ближайшего родственника этого изверга мне в полной мере пришлось испытать на себе.

Появились статьи во всех местных газетах.

Вслед мне кричали и улюлюкали.

Я словно взял на себя часть его греха и ответственности за этот несмыслимый грех.

А ведь они шли к нему добровольно!

Как же он находил свои жертвы?

Первая из них была просто бездомная, бичиха. Тогда, кажется, ещё не появилась аббревиатура БОМЖ.

Жила в общежитии, пила. С работы уволили. Общественный совет и соседи добились её выселения. Она скиталась по пивнушкам, по вокзалам – жд и авто. Милиция её отовсюду гнала, грозила тюрьмой. А тут – дядя Коля. Налил, закуски поставил. Сказал:

– Пить бросишь – возьму в свой кооператив. Шить-то умеешь?

Умела и шить, и вязать, и пряжу прясть – деревенская девка, попавшая в объятия города.

Привёз сюда. Дом он тогда ещё только строил. Она ему помогала на самых тяжёлых работах, а потом заставил этот погреб рыть и сам с ней

вместе рыл. Говорил, что сельхозпродукты будет здесь хранить.

А как выкопали – она и стала первым сельхозпродуктом. Столкнул её на кучу песка, чтобы не разбилась, кинул туда же бутылку самогона, закрыл люк. Она по привычке выпила и заснула.

Через два дня, когда ослабела от голода и алкоголя, открыл люк и крикнул:

– Жить хочешь?

– Хочу.

– Тогда слушайся меня. Я для тебя же, дуры, стараюсь, для твоей пользы. На воле ты сопьёшься, а я из тебя человека сделаю. От тебя зависит. Бросишь пить – возьму к себе на хорошую работу в цех. А пока – посиди, отвыкни от водки. Поняла?

Ещё б она не поняла! На воле что ей светило? Сдохнуть в канаве или сесть в тюрьму – приворовывала: выпить и пожрать каждый день хочется!

Поставил он ей швейную машинку, свет провёл, дал топчан и матрац, из ящичков стол соорудил и стала она при электрическом свете шить. А Колян ей – в ведре пищу, а в другом – отходы за ней.

Обещал, что, как только исправится и на приличную одежду себе заработает, так выпустит её и к себе на фабрику устроит. Она поначалу верила, что это такой метод лечения и воспитания. В ЛТП, слыхала, тоже так-то сурово лечат.

Вторую дуру он на вокзале нашёл.

Приехала она откуда-то из далёкой деревни, а тут, в городе её ждали, ага!

Сунулась туда-сюда, кроме как в уборщицы за копейки, никуда не берут. А дядя Коля обещал взять к себе в цех на хорошую работу, где большие деньги платят.

Был он серьёзным, строгим, немногословным. По возрасту – в отцы годится, и по манерам – что отец родной. Ни грязных намёков, никаких приставаний. Вёл себя, как начальник ведёт, когда принимает на работу. Она пошла за ним

И оказалась в той же яме. А ведь просто попросил её спуститься в погреб, огурчиков-помидорчиков солёных достать. У самого, мол, старого, поясница болит.

А третья оказалась вообще сирота. Туда же её!

Он все правильно просчитал, что никто их искать не будет, и никаких знакомых у них тут, понятно, нет.

Они ему шили, он сдавал продукцию, кормил их баландой из ведра, да другое ведро выливал в дворовый туалет.

Сколько они там просидели – сами точно не знают.

Освободили мы их. Но вы бы видели, какой ненавистью они прониклись ко мне уже через несколько дней! Пожалуй, не меньшей, чем друг к другу.

Они вспоминали малейшие обиды – кто чего больше съел и меньше сшил.

Кошмар происходящего разрастался, и, в конце концов, я просто бросил все, не стал заниматься ни продажей этого проклятого дома, который бы все равно никто здесь не купил.

Я даже постарался уехать незаметно, сев в электричку, и только на следующей станции купил билет на поезд.

Дома я не хотел ничего говорить, но пришлось!

Жена не поняла меня. Как можно бросить такой особняк! Хоть бы о дочери подумал. Дело у нас тогда чуть не дошло до развода.

А ключи, честно признаться, я на обратном пути выкинул из окна вагона.

Елена Иноземцева

КОСМАТОЕ ВРЕМЯ

* * *

Что ты видишь в окне? – Вижу крышу кирпичного цвета.
Что ты видишь ещё? – Из трубы поднимается дым,
тонкий абрис над ней (точно тушью прочерчены) веток,
и фонарные (днём – безнадёжно слепые) столбы.
Что ты знаешь о жизни? – Она поместилась в ладони,
точно карточка с памятью в несколько сот мегабайт.
Там есть снимок про лето: янтарное масло в бидоне
и подсолнух цветет, как Ван Гог навек копирайт.
Не забыть бы потом отыскать, проявить фото пленку,
чтоб увидеть на ней – подзатёртой, покрытой пылью –
всех, кто жили во мне: эти люди с глазами ребенка,
эти женщины с круглым, по-детски открытым, лицом.
Но глаза отвести и увидеть суровое небо
с черепицами крыш, колокольни чужой силуэт
... там есть снимок еще, на котором качается верба
над апрельской водой – столько лет, Боже мой, столько лет...

* * *

длинный поезд, словно пояс,
по долинам и по взгорьям.
набирает поезд скорость
и гудит, как будто горе
приключилось, будто море
славное – Байкал священный –
с баргузином-ветром споря,

разлилось... дома, пещеры
затопило, и долины,
и недобрые туннели.
и по пояс исполины
в ледяном потоке – ели.
и плацкартные вагоны
прошивая сквозняками,
точно очередь, стоны
издают больные рамы.
успевай, несись, покуда
это небо не упало,
превратив в кровавый студень
звезды, ели, рельсы, шпалы.
успевай, живи... доколе –
ты не знаешь – будет петься,
будет питься в том вагоне,
будет биться чье-то сердце.

* * *

ну кто тебе сказал
что эти улицы
нуждаются в пророческих словах
кто выдумал
что ты по ним пройдёшь
задумываясь, вслушиваясь в шум
Медеей ожидающей Язона
который лишь предчувствие ещё
но зов руна и зов Медеи внятны
на том конце земли за океаном
Язон неспешно строит свой корабль
и выбирает цвет для парусов

но кто тебе поверит
что не город
рождает этот мерный
неизбежный
солёный как вода на скалах
грохот:
дракон ощерился

и всасывает воздух
мембранами замшелых подворотен

Язон состарился
Медея просто миф
а ты сама откуда –
ниоткуда
кто ты – никто
твоя страна осталась
на грязных картах прошлого столетья
ты выплыла
как житель Атлантиды
из снов о прошлом
пережив крушение
ты выжила
ты больше не Медея...

* * *

Когда подумаешь – какие
мы стали старые с тобой...
Летят девчонки молодые
над луж воскресною водой.
Летят, не чая воскресенья,
к блестящим лужам мотыльки.
И день звенящий, день весенний...
А мы, подумать, – старики.
Уже почти что раритеты
одной из прожитых эпох,
хотя обуты и одеты
вполне по моде, и не плох
наш вид на этом общем фоне...
Но мир меняется быстрее
рингтона на твоём смартфоне.
И боль становится острее.
И жизнь, ненужно изжитая... –
а дальше там по тексту как?
В вечерних лужах солнце тает,
и купола скользят во мрак.
Нам тридцать лет... ну, ладно, – сорок,

а мы, как ящеры в ночи,
кричим, что жизнь – лишь мрак и морок...
Молчи. Смиряться и молчи.

* * *

мне говорили: «смотри туда,
вылетит птичка!» – и я смотрела.
птичка, конечно же – никогда...
жизнь фотопленок: на них беда
крестики ставит мелом,
чтобы потом вспоминать: вот тут
он и не знает, но трое ждут
в подворотне с кастетом.
этот останется, так и быть,
будет немножко тебя любить
жарким-прежарким летом,
а в сентябре все равно уйдет
к этакой белокурой – вот
и она: обнимает мишку
и напряженно по-детски ждет
ласточку, голубя – ведь вот-вот
вылетит птичка... но птичка – врет,
время готовит вышку
всем: и тебе, и ему, и ей.
время выплескивает голубей
в синее небо, и там они
плещутся, радуются – живут.
мы остаемся навеки тут,
на фотопленке – каждый в своей
Серебристой гавани.

* * *

кто пил эту воду сухими губами,
кого это солнце любило по-русски
(того, кого любит – того убивает),
кто помнит оврагов пологие спуски,
поросшие сплошь ивняком и осиною,
кто помнит названия прежние улиц

протяжных, как призрачный зов муэдзина,
с домами, стоящими точно сутулясь –

я, Господи, я – вся моя эта память,
с которой опять у меня недомолвки,
с которой, как с ангелом в битве, не сладить,
как пьянице с опером в клетке ментовки.

когда сквозняки продувают бараки
насквозь, и шершавятся голые стены,
и пятна заката сгорают как маки,
любя и не веря, что это – измена,
что это – последняя в жизни разлука,
что дальше лишь ночь, чернота, бездорожье,
где даже колес не слышится стука,
а песня – и вовсе уже невозможно...

я, Господи, я – прожила это время,
косматое время, как шкура овечья.
оно мне досталось – не дар, а потеря,
как будто больному-слепому – увечье.

как маковой крови смертельная доза
оно нас убьет и уже убивает,
косматое время – нервозно стервозно... –
других не бывает... других не бывает.

Ольга Калинина

ВКУС КРЫМА

Воспоминания об Артеке

(журнальный вариант)

В самые беспросветные годы советского застоя мне – студентке художественно-графического факультета пединститута – довелось поработать вожатой в главном лагере страны Артеке. Впечатления у меня остались яркие и очень противоречивые.

Артек не только один пионерский лагерь. Это целый город, длинное побережье, где один лагерь переходит в другой без видимых границ. От Гурзуфа начинается Кипарисный лагерь. За Кипарисным находится Лазурный. Помпезные дворцы, бесконечная мраморная лестница с вершины, от корпусов-дворцов до самого моря. Все наводит на мысль о том, что здесь жили когда-то царские особы, а потом все это великолепие было экспроприировано в пользу пролетарских детей. Правда, в те годы застоя, когда мне довелось побывать, пролетарских детей в Артеке практически не встречалось. Все больше были дети партийных функционеров и руководящих работников.

Дальше шли другие лагеря – Лесной, Полевой, Прибрежный, Морской, Горный, Хрустальный и т.д. В центре Артека ещё и его музей, дирекция, больница.

Была и аллея гостевых корпусов. Там нередко встречались известные на весь Союз личности. Часто видели очень популярную в те годы певицу Валентину Толкунову с маленьким сыном. Она совсем не походила на «звезду», – в простом ситцевом платье, с русой косой и очень добрым лицом.

На пляже по утрам мимо нас пробежал композитор Владимир Шаинский с ластами и ружьём для подводной охоты. На пирсе он кричал: «Девочки, привет!» И нырял, а через некоторое время появлялся с рыбиной на гарпуне.

Набережная и пляж в Артеке были совершенно замечательными и, что главное, почти всегда пустынными. Пионеров выводили загорать и купаться строго по режиму, и на довольно короткое время. В остальное же время там бродили гости и знаменитости. Однажды, проходя по набережной, мы ещё издали увидели, что происходит что-то необычное. Толпа народа, а в центре, как богиня, – в белом платье, с развевающимися волосами – София Ротару. К ней, правда, было не подойти – снималась культовая в те времена музыкальная программа «Утренняя почта».

Двигаясь по побережью к Аюдагу, ещё издали можно было заметить непомерно большой памятник Ленину. Площадь у постамента была вся в провалах, бетонные плиты разломились, треснули, повсюду зияли дыры. Все это рядом с показным величием выглядело весьма удручающе.

Но взгляд сразу же переходил на чашу стадиона, на поразительной красоты горы, нависающие над морем, и ощущение радости и простора возвращалось.

Поначалу мне казалось необычным, что все дети здесь ходят в артековской форме. Своя одежда, а также карманные деньги, полученные от родителей, сдавались в камеру хранения. Уравниловка, конечно, но так было принято. Мне рассказывали случай, когда одна девочка из Средней Азии, дочь председателя колхоза, привезла с собой десять тысяч рублей, сумму по тем временам фантастическую, так как столько стоил хороший автомобиль. И ничего! Деньги сдали на хранение, а среднеазиатская принцесса жила среди всех на равных.

И у вожатых тоже была своя форма – с пилоткой и с пионерским галстуком. Удивительно, но в этой артековской форме совершенно стирался возраст. Так, в Кипарисном среди юных вожатых бегала такая же, казалось, юная, с двумя косичками, в короткой юбке вожатая Оля. Но как я была поражена, увидев её на террасе гостиницы, где мы жили, с трудом узнавая в сорокалетней женщине в халате, с пучком на затылке, нашу Олю.

Форма, вернее её безликость, могла сыграть и злую шутку. Однажды один наш мальчик решил пообщаться с американскими детьми, тоже перодетыми во все артековское. Американские пионеры высокие, шумные. Наш Шурик решил подойти к самому маленькому из них. Похлопал по плечу со словами: «Hello, friend!». Но при ближайшем рассмотрении это оказался вовсе не его ровесник, а пожилая женщина-афроамериканка, их руководитель.

К форме, тем не менее, привыкаешь, и с ней было жаль расставаться, когда пришла пора уезжать.

Артековская жизнь оказалась наполненной множеством правил и необъяснимых традиций. Так, например, тихий час здесь назывался

«Абсолют», от абсолютной тишины, очевидно. Для выявления отсутствующих пионеры строились тройками и сами себя в них пересчитывали. Каждый день в отряде назначался новый командир, которому давали часы и лист бумаги с расписанием дня, и он, а не вожатый, организовывал все мероприятия. Смены в Артеке были не двадцать дней, как в обычном пионерском лагере, а два месяца. Если смены попадали не на лето, то пионеры ходили в артековскую школу. Но к одной традиции мы так и не привыкли, – это когда отряд, идущий своими тройками, всем встречным выкрикивает, в зависимости от времени суток: «Всем, всем! Доброе утро! Всем, всем! Добрый день! Всем, всем! Добрый вечер!» К концу дня хотелось прятаться в кустах, лишь бы не слышать это: «Всем, всем...»

Но случались и «креативные» задания и пионерам, и вожатым. Так, в самые первые дни пребывания в Артеке нам поручили сделать оформление комнаты артековского музея о пребывании в лагере «дорогого Леонида Ильича».

Тематика была обычная, все виденное-перевиденное – пионеры дарят Леониду Ильичу цветы, пионеры показывают ему свои рисунки, пионеры поют для Леонида Ильича, танцуют для него же, ходят строем, бьют в барабаны. А в центре необходимо было изобразить все того же Леонида Ильича, делающего всем ручкой. К счастью, все это безобразие не просуществовало долго. Осенью того же года Брежнев скончался, а стены в музее закрашили и подготовили для изображения новых персонажей.

Безотносительно к чуши, которая там выставлялась, сам по себе музей запомнился мне довольно красивым зданием с ажурной резьбой, с лёгким изяществом стиля «модерн». Мраморная лестница, поля цветущих роз. Но самыми примечательными экспонатами были подарки Артеку от различных делегаций. Флаги, кубки, вазы, скульптуры, картины... Поднимешь голову, а под потолком гигантские воздушные змеи в виде драконов с горящими хрустальными глазами и шёлковыми хвостами, самых невероятных расцветок.

Был в музее и небольшой, будто скрытый от случайных посетителей, зал. С картин, развешенных на стенах этого потаённого зала, на нас смотрел Иосиф Виссарионович. Картины в золотых рамах были написаны добротой в стиле соцреализма и, разумеется, о «нашем счастливом детстве». Во всем этом было что-то мистическое, жутковатое. Мы тогда уже многое знали о сталинских репрессиях. Но нам казалось, что все это так далеко в прошлом. В коммунистическую, пионерскую символику мы скорее играли, не воспринимая её серьёзно, а тут вдруг увидели, как все близко.

Но время очень быстро все изменяло. Не за горами была горбачёвская гласность, а за ней и ГКЧП, и развал Советского Союза, затем эпо-

ха Ельцина и реформы Гайдара. Какие портреты развешивали потом в Артеке? Сохранилось ли здание музея? Хотя у меня такое ощущение, что Иосиф Виссарионович до сих пор строго приглядывает за нами с мраморных музейных стен.

Несмотря на политизированный характер воспитания, привносимый сверху, все же на уровне простых человеческих отношений в Артеке складывался дух взаимопомощи и товарищества.

Даже пресловутая дружба народов не была в Артеке абстрактным понятием. В каждую смену здесь можно встретить детей из самых разных стран, детей всех рас.

Вспоминаются американцы – непосредственные и жизнерадостные. Они постоянно занимались спортом: бегали вдоль набережной, играли в настольный теннис, бадминтон, волейбол.

Из французской делегации помню двух худеньких мальчиков, ходивших обнявшись. Нашим вожатым они бесхитростно рассказывали, что гомосексуальные отношения – норма и во Франции законом не запрещены.

Дети из Конго – спокойные, послушные, изящные, как статуэтки из чёрного дерева. Мальчики с гладкими, стриженными головами. Девочки со странными причёсками. Они расчёсывали свои волосы палочками из африканского дерева, вернее разделяли их на сегменты, скручивали канатики и закрепляли их золотыми бусинами. Фантастически красиво и необычно.

Но более всех запомнились мне дети, приехавшие в Артек из Палестины. Их вывезли из зоны конфликта, из-под бомб. Некоторые были ранены и лечились в артековской больнице. Они все поразили нас своей красотой и какой-то неуправляемостью. В своей комнате они сразу развесили портреты Ясира Арафата. Вместо красных галстуков на них были платки с вытканной чёрной клеткой по белому фону с черно-белыми кистями. По ночам они постоянно куда-то сбегали. В мирной артековской тишине был слышен их топот, крики наших вожатых и отчаянные призывы девушек-переводчиц. Палестинские дети то намеревались купаться ночью в море, то залезть ночью на Аюдаг, то ещё что-то. Слушались они только руководителя своей делегации, серьёзного мужчину в годах. Одного его слова было достаточно, что бы их уговорить.

Был ещё эпизод, запавший мне в память. На огромном артековском стадионе проходил спортивный праздник. От каждой делегации должны были бежать команды. И вот сразу же на старте вырвался вперёд невысокий худенький мальчик-палестинец. Он бежал с первых минут на пределе своих возможностей, с восторгом видя, что всех обгоняет, но не рассчитал своих сил. На середине дистанции все постепенно начали обходить ма-

ленького палестинца. Но он не хотел сдаваться, из последних сил пытался всех обогнать, даже кричал от отчаянья. Когда он стал хвататься за грудь и задыхаться, палестинцы с трибуны закричали, что бы он остановился. Но нет, этот мальчик не мог сдаться. Чуть ли не ползком он дошёл до финиша, упал на землю и заплакал от боли и обиды. Подоспевшие медики унесли его на носилках, а весь стадион аплодировал его упорству и воле к победе.

Что ещё на годы врезалось в память, – это незабываемый вкус Крыма. Нам хотелось попробовать все, что выросло на этой земле, в этом изумительном климате.

Любопытство заставляло нас все увиденное тащить себе в рот. Однажды мы с подругой увидели, как милая девушка собирает с мохнатых кактусов ярко-розовые плоды, похожие на колбаски. «Хотите – попробуйте». Конечно, хотим! Розовые колбаски на вкус были похожи на крыжовник. Показалось, что вкусно, и потом только мы заметили, что плоды эти в ворсинках и впились нам в кожу, лицо, язык. И отплеваться, и отмыться от кактусовых иголок удалось только на третий день. Тут настало такое блаженство! Мы в те годы ещё не читали Карлоса Кастанеду и не знали о просветлении, наступающем после поедания кактусов.

Как-то раз до отравления мы наелись горького миндаля... Хотя вкус должен был бы нас насторожить.

В другой раз почти до удушья наглотались жёлтой рябины и срочно отпаивали себя из поливочного шланга.

Следующим нашим экспериментом было тисовое дерево.

Но вкус Крыма – это, конечно, и вполне что-то съедобное. И почти всегда очень вкусное.

Часто попробовать что-то нас с подругой заставляли и занятия живописью. Только расставишь этюдник в каком-нибудь гурзуфском переулке и начнёшь писать этюд симпатичного домика с деревянным балкончиком и открытой террасой, как начинают доноситься умопомрачительные запахи. Потому как это не просто домик, а ресторанчик, и там жарят шашлыки и запекают фаршированные перцы, и что-то ещё вкуснейшее варят. И хотя в Артеке мы отнюдь не голодали, устоять перед этим великолепием было невозможно...

О Крым! Благодатный и гостеприимный, всегда ты припасал нам какое-то лакомство.

То мы натыкались на дерево с плодами, как луковки, переспелыми, зернистыми и сладкими, источающими медовый сок. Только потом узнавали, что это был инжир.

То находили виноградник с невиданно огромными золотисто-прозрачными ягодами, спрессованными в гигантские грозди. И суровый че-

ловец с ружьём, в плащ-палатке, застукавший нас за отщипыванием ягод через забор, не прогонял нас, не ругал, а незамедлительно нырлял за ограду и приносил нам эти громадные кисти. «Кушайте», – говорил он с этим незабываемым местным акцентом и сразу же убежал, наверное, «ловить и наказывать» таких же, как мы, злоумышленников.

Через пару лет в Крыму началась, как мы помним, антиалкогольная кампания. Надеюсь, что тот памятный мне виноградник уцелел, что человек с ружьём отстоял его от варварской вырубки.

Мои воспоминания – самого Артека, его историй, подруг-вожатых, подопечных детей, – все происходит на фоне пышных, радостных крымских декораций. Поэтому и запомнилось больше все хорошее, светлое. До сих пор помню некоторых ребятишек из моего отряда. Мои пионеры, – называю я их про себя. Им тогда было по 12-13 лет, и они были, конечно, не такими взрослыми, как их теперешние одноклассники.

Вот вспоминается один мальчик, который наивно и откровенно всем рассказывал, что путёвку в Артек ему родители купили, он совсем не пионерский активист, да и неужели здесь все такие активисты. На что ему предложили собрать вещи и отправиться домой. Конечно, до этого не дошло, он быстро усвоил законы артековского товарищества.

Но был в моем отряде и случай, когда ребёнка все же пришлось отправлять на родину. До сих пор помню, что мальчика из Узбекистана звали Учкун. Он почти не говорил по-русски, не понимал, куда он попал, и что от него требуют, все время просился домой. На вопросы, задаваемые через переводчика, зачем приехал в Артек, он отвечал со слезами, что: «хлопок собирали, потом мама чемодан сложила и посадила в автобус». Позвонили в Узбекистан, приехал партработник и забрал своего маленького хлопкороба.

При расставании пионеры из моего отряда записывали мне в блокнот свои адреса, приглашали приехать.

Особенно звали меня в гости две небесной красоты девочки-армянки. «Приезжайте к нам в Нагорный Карабах. Там очень красивые горы. Мы будем Вам очень рады. У нас все-все добрые люди, и очень- очень спокойно». Кто мог предположить тогда, что всего через три года там начнётся война, которая длится до сих пор. Где вы мои пионерки, мои девочки? Надеюсь, война не коснулась вас, хотя возможно ли это?

Сколько чудесных дней прожили мы все вместе, сколько незабываемых событий! Парад кораблей в День военно-морского флота, на который мы смотрели с Севастопольской набережной. Всюду флаги, оркестр играет военные марши, а мои пионеры орут от восторга, забывая отдавать пионерский салют проходящим кораблям, как учило нас артековское начальство.

Это было чудесное лето, которому в моей жизни было не суждено повториться. Ни в Артек, ни в Крым я больше не смогла приехать. Слишком много всяких событий было и у меня в жизни, и в судьбе той страны, которую мы называли Советский Союз.

Памятью о тех чудесных днях стали этюды и рисунки, что уцелели у меня при многочисленных переездах. Рассматриваю их, где-то они пожухли, где-то трещинки в грунте и отваливается краска, но слышится мне шум волн, грезится запах моря, южных растений. Это моё долгое, затянувшееся прощание с Крымом.

Дарья Зайчикова

ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ

Правда-правда Честно-честно,
Жизнь раскатана из теста,
Из муки да из яиц,
Мельтешенья разных лиц.

Правда-правда, честно-честно,
Посолите там, где пресно
Или сахара чуть-чуть –
Подсластить земную суть.

Правда-правда скрыта-скрыта,
Где дворец и где корыто.
Пекарь в небе там, где свет,
Новый стряпает рецепт.

ВСЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

Все продолжается: лето, зима...
Грустно, так грустно... но не о чем плакать...
Жизнь наше прошлое туго вплела
В эти подъезды, деревья, дома,
В синего неба глубокую мякоть.

Медленно в небе плывут облака...
Вымостим улицы счастьем и грустью.
Не о чем плакать: ведь будет века
Помнить земля под следом башмака
Всю нашу жизнь – от истока до устья.

ПОСЛЕДНИЙ АВТОБУС

Перелистывая дома,
Едет старый ночной автобус.
Я смотрю, как в окне зима
Обнимает погасший глобус.

До последней земной души
Обглодав этих улиц кости,
Эта ночь верным псом бежит
За стеклом, не вперёд, а возле.

Спотыкаясь об острова
Остановок, о звуков льдины,
Еду в завтра. Иль во вчера.
Разглядеть не хватает силы.

КАК В ПРИБРЕЖНОМ ПЕСКЕ...

Мне по вкусу копать в словах, как в прибрежном песке,
Разбирать на частицы вселенную столь не похожих
Друг на друга молекул на чашей раскрытой руке,
Как по звёздам читая в них явственно промысел божий.

Я люблю отражаться во вздохе трепещущем вод,
Растворяться по капельке в них с каждым шагом заката.
Я боюсь, что когда-нибудь это тихонько уйдёт,
Ещё больше – что я не почувствую этой утраты.

Но заметен бег времени, кажется, лучше всего,
Когда там, где вчера надпись «книжный» вовеки и присно,
А сегодня – арбузы, бананы и много чего,
Штукатуркой осыпался в лету кусок этой жизни.

АЭРОПОРТ. ДОМ-БЕДУИН

Аэропорт. Дом-бедуин.
Кочевник. Странник. Собеседник.
Скиталец. Путник. Пилигрим.
Гостеприимец и Отшельник.

Гнездо родного языка
В ветвях чужого диалекта
Совьем с тобою. Здесь слегка
Утрачиваем яркость спектра

Своей, чужой, другой судьбы,
Хитросплетенья наших судеб.
Где я не я, а ты не ты,
Где нас обыденных не будет...

Аэропорт. И перемен
Адреналиновые волны.
Где наши жизни на размен
Зал ожидания ставит полный.

Где я не я, а ты не ты,
А лишь вокзалов приведенья.
Где одиночеством полны
Полосок взлётных искривленья.

Где черно-белый твой портрет
Мне вспоминается размытый.
Где обналиченный билет
Лежит за кассами. Убитый.

Где гаснет свет стальной. И где
На тишине заплатки речи
На иностранном языке.
И быстрорастворимы встречи.

Где сновиденья наяву
Галлюцинируют неспешно.

С собой объявят randevu.
Табло покажет – «рейс задержан».

ЗАСЕЧКА

Попробуй сам измерить счастье в спичках:
В тот самый миг их сколько отгорит?
Плати собой, плати за всё наличкой.
Стекает воском вечер – день прожит...

И только так: оплавясь, точно свечка,
И только так: в золу сжигая цель,
Умеет жизнь... Я делаю засечку,
Затем, чтобы вернуться в черный день.

Виктория Жукова

СТРАННЫЕ ВРЕМЕНА

Включив компьютер, Наталья Петровна побежала на кухню, открыла бутылку красного вина, залпом выпила стакан и вернулась в комнату. Компьютер загрузился, и можно было посмотреть почту. Прочитав и рассортировав личные письма, она заглянула в тайный рабочий почтовый ящик. Этот адрес знали только потенциальные работодатели. Наталья Петровна уже три года была на пенсии и подрабатывала киллером.

В прошлом известная спортсменка, призёр международных соревнований по биатлону, она быстро сошла со спортивной арены. Нужно было жить дальше, и она поступила на фармакологический факультет Первого Меда.

«Знания умножают скорбь, – любила повторять её мама, – шла бы лучше в физкультурный. Тренеры сейчас неплохо получают. Что тебе в аптеке делать?»

Наталья молчала. Ещё в десятом классе она случайно нашла на чердаке дачи дореволюционную книгу о ядах. Эта книга её заворожила. Поняв, какую власть она сможет получить над людьми, Наталья решила посвятить себя исследованию лекарств. Тщедушная, с соломенными хвостиками, без бровей, с маленькими голубыми глазами, она никогда не пользовалась успехом у мужчин. Подруг у неё тоже не было. Дело было не только во внешности. Наталья ощущала безграничное превосходство над людьми, и, казалось, смотрела на них либо через оптический прицел винтовки, либо сквозь склянку с ядом.

В молодости ей хотелось быть как все, хотелось семью, детей, потом, махнув рукой, она отдалась спорту, а потом – работе. Денег с каждым днём становилось все меньше и меньше, было начало девяностых, работа уже не кормила. Иногда она добивалась разовых дотаций в спорткомитете, обращалась неоднократно в Олимпийский комитет, но при выходе на пенсию определили ей лишь надбавку в триста рублей.

Деньги были очень нужны. Заболела мать, Наталья металась по врачам,

лекарям, знахарям. Ей давали заговорённые настойки, махали над угасавшей матерью руками, прописывали бесконечно дорогие бесполезные лекарства. Бесплатная медицина закончилась, везде требовались деньги, и немалые, но все накопления пошли прахом. Наталья, насмотревшись рекламы по телевизору, вложила последнее в преуспевающую компанию. Не получилось. Очередное банкротство. В результате – простаивание сутками у запертых дверей компании, составление списков, истерики и инфаркты пострадавших вместе с ней, и её мучительные ночи. Она перестала спать, по ночам смотрела в стенку остановившимися глазами, беспомощно слушая стоны матери, и мечтала о мести. Мать умерла под Рождество. Соседи кое-как привели Наталью в чувство, помогли с похоронами. Очнувшись Наталья только в храме, когда пришла договариваться о панихиде. Был Рождественский пост, но храм был уже украшен еловыми ветвями. Она стояла, замерев, смотрела на тёмные иконы, освещённые свечным пламенем, слушала нестройный старушечий хор и чувствовала, что мать рядом, как прежде утешает и подбадривает её. Что есть человек? Страдающая плоть или орудие в руках Господа? Она не чувствовала за собой никакой вины. Но как же Господь допустил, чтобы его чадо подвергалось таким испытаниям? И кто те люди, которые так грубо, бесцеремонно обирали её, растаптывая её жизнь, погубив её мать? Неужели они более угодны Господу? Нет, поняла вдруг она. Бог справедлив, и она меч в его руках. Наталья успокоилась, вытерла слезы и вышла из храма.

Через месяц Наталья оказалась у метро, где стала торговать сигаретами.

Грузчики, продавцы, мужики у ларьков, бомжи, шоферюги, все те, кто, вбегая в метро, жадно хватали у неё по утрам дешёвые сигареты, отдавая её перегаром, составляли теперь среду её обитания.

Замотанная в старый платок, в валенках с калошами, в пальто с цигейковым воротником и болоньевом плаще, надетым поверх, она ничем не выделялась из толпы «бизнесвумен», торгующих кислой капустой, огурцами и банными вениками. Они практически не общались. Встречаясь по утрам, они хищно оглядывались в поисках удобного места. За каждым негласно было закреплено своё, но почему-то очень хотелось заполучить место другого. Казалось, здесь будет и выручка побольше, и защита надёжнее – от рэкета и милиции.

Первое своё убийство Наталья совершила невольно. Одна из её товаров, кроткая, пугливая старуха, постоянно жаловалась, что сын-наркоман тащит у неё деньги. Наталья однажды не выдержала и принесла маленький пузырёк с лекарством.

– Капай ему по три капельки в еду. Через месяц он должен перестать пить. Старуха благодарила, глядя на Наталью маленькими слезящимися

глазками. На другой день она не пришла, появилась только через неделю. Подойдя поближе к Наталье, прошептала:

– Преставился сердечный, от твоего лекарства.

Наталья отшатнулась.

– Да ты что? Как ты ему давала? Я же тебе велела по три капельки!

– Я так и начала. А он забалдел, схватил пузырёк и все в вену вколол. Я тебе подарочек принесла, ложку серебряную.

– Не возьму, – в ужасе зашипела Наталья.

– Бери, а то не знаю, как и отблагодарить тебя. Он все равно не жилец был.

Наталья взяла ложку. Дома она её помыла, почистила и долго рассматривала, пытаясь представить семейную драму. После этого случая Наталья перешла к другому выходу из метро. Только она обжилась на новом месте и подружилась с местными собаками, подошла к ней торговка яблоками и зашептала:

– Видишь? – Она отвела клетчатый платок, который скрывал страшный шрам. – Убить меня, подлый, пытался в прошлом году.

– В милицию заявляла?

– А как же! Он пошел к участковому, выпил с ним. Теперь, говорит, мента купил на корню, и буду делать, что захочу. Помогите! – Заплакала она.

Наталья молча ушла. На другой день она увидела на своем месте знакомую старуху, которая утешала плачущую торговку яблоками. Они кинулись к Наталье, шепча:

– Помогите, век благодарить будем, в церкви отмолим.

– Да как же вы после этого в церковь-то пойдёте?

– Отмолим, отмолим, – шептали бабы, – принеси только.

Тут Наталья посмотрела на них с ненавистью и сказала:

– Тысячу долларов.

Бабы отшатнулись, пошептались и вдруг согласились. Наталья, думавшая отпугнуть их ценой, смутилась:

– Ладно. Завтра принесу.

Передавая пузырёк, она твердила про три капли. Баба кивала. Потом сунула Наталье две замусоленные бумажки по сто долларов и заспешила.

– Замёрз он, – рассказывала она через две недели, торжествуя. – Выпил и замёрз. Пошел в сарай за дровами и упал. Милиционер сказал, несчастный случай, – она полезла в карман и вытащила пачку денег. – Век за тебя буду молиться. Теперь заживу, Федьку возьму, он непьющий, давно на меня смотрит, – она кивком указала на молодого калеку в камуфляже, сидящего в самом низу лестницы. Ему хорошо подавали. Он выдавал себя за раненого в Чечне. На самом деле он ещё ребёнком попал под электричку в Калуге.

Наталья хмыкнула и взяла деньги. После этого она ещё раз поменяла дислокацию. Однако, через месяц, её нашли и там. Невзрачного вида мужичок, подойдя, просипел:

– Ну что, поговорим?

Наталья вздрогнула.

– Не бойся, не обижу. Наслышаны. Поможешь?

– Ничего не знаю, отстань.

– Нет, так не пойдёт. Или мы договариваемся, или нет, но тогда и суда нет, – вроде бы пошутил он.

– Почему нет?

– Да не доживёшь.

– Чего надо? – хмуро поинтересовалась Наталья.

– Вон машина, бээмвуха серая. Подойди. Там с тобой поговорят.

Наталья побрела к машине. Дверца открылась, и властный голос произнёс:

– Залезайте.

Наталья села на переднее сиденье, посмотрела на угрюмого шофёра и обернулась назад. Интересный, не старый ещё мужчина пристально разглядывал Наталью.

– Кто вы? – Спросила она.

– Считайте, некая структура. Мы подумали, что нуждаемся друг в друге. Будете работать с нами?

– И как же я нуждаюсь в вас? – поинтересовалась Наталья.

– А так. Одну вас быстренько уберут.

– Не буду я с вами работать.

– Напрасно. Перед тем, как затеять разговор, мы с вашими бывшими друзьями из спортивной команды связались, расспросили в аптеке, где вы трудились. Мы вас как консультанта будем использовать. А если один-два заказа и дадим, так это в ваших же интересах. Большие деньги будут. Покругитесь здесь, года через два сможете уехать, – ну, скажем, в Доминиканскую Республику.

У Натальи упало сердце. Она оценивающе посмотрела на мужчину. Все унижения, грязь и холод, которые она испытывала, торгуя сигаретами, вспомнились ей, и она неожиданно согласилась.

– Когда приступать?

– Вот и славненько! Для начала, возьмите, – он протянул листочек, – тут адрес вашей электронной почты. Ребята установят вам компьютер. Почту будете просматривать два раза в день, в 10 и 20 часов. К вам потом подъедет наш специалист, научит, как с компьютером обращаться.

Наталья на трясущихся ногах пошла к метро. Отдала свои сигареты

старому, всегда трезвому бомжу и поехала домой. У подъезда встретила соседку. Посмотрев внимательно Наталье в лицо, та запричитала:

– Ой, ограбили? Да? А ты в милицию заявила?

– Нет, не стала, бесполезно. Не пойду туда больше, буду вахтером устроиваться.

Отвязавшись от соседки, Наталья поднялась на свой этаж. Дверь была приоткрыта. Наталья замерла. В квартире хозяйничали. Валялись коробки, обрезки провода, куртки. На большом столе стоял красавец-компьютер. Дорогой монитор был включён, экран мерцал. Восхищённая Наталья замерла. Монтажники повернули к ней головы и заулыбались:

– Вот хорошо! Хозяйка пришла! Принимайте работу.

Наталья полезла в кошелёк.

– Нет, нет, за все уплачено, не волнуйтесь. Мы вам ещё должны пакетик передать, распишитесь, что приняли.

Наталья расписалась, парни, натянув куртки, отбыли. В пакетике лежали доллары, две тысячи. Так что, вместе с накопленными и заработанными у метро, у неё образовалась кругленькая сумма в пять тысяч.

Первое задание Наталья получила через месяц. Ей нужно было составить пропись ядов с разной формой действия: частичной потерей сознания, с трёхдневным сном, с отсроченной смертью, с мгновенной безболезненной, со страданиями перед оной. Где хозяева берут компоненты, как и на ком проводят испытания, Наталья старалась не думать. Жила она в последний месяц в состоянии транса. Единственное, что приводило её в сознание – работа в интернете, где она черпала сведения о новых лекарствах.

И вдруг пришло настоящее дело. Ей предлагалось убрать «крупного авторитета», как значилось в послании. Винтовка должна была находиться в определённом, заранее оговорённом месте, где именно, – ей сообщат. Наталья перестала спать. Одно дело сидеть у компьютера, пытаться удовлетворить своё любопытство, составляя различные рецепты, при этом даже можно было не знать результатов. Другое дело – выслеживать жертву, выясняя её привычки и знакомясь с окружением. И потом, выбрав удобный момент, спустить курок, сразу превратив живого, дышащего, чувствующего человека в кусок неживой материи. Она сидела за столом, теребила мамины фотографии, словно ожидая от неё совета. На неё опять нахлынул ужас бессонных ночей, перед глазами стояли лица старух, торговавших с ней у метро, лица чиновников, выслушивающих её вполуха и стремящихся побыстрее выпроводить, ошалевших от своей внезапной значимости безграмотных полупьяных врачей. И чем дольше она смотрела на мамину фотографию, тем яснее она понимала, что в этой войне она на стороне обкраденных и обездоленных стариков. Наталья приняла решение.

Поразмыслив ещё немного о моральной стороне убийства, она начала обдумывать технические детали проекта.

На охоту Наталья вышла на следующий день, после получения сообщения об оружии. Одевшись, как на работу, то есть в зимнее пальто, платок, валенки, Наталья двинулась по указанному адресу, прихватив обглоданный веник и ржавый совок. Увидев нужный дом, перешла на противоположную сторону и направилась к подъезду пятиэтажки, на чердаке которой её ждала винтовка. Делая вид, что подметает лестницу, она поднялась на пятый этаж и юркнула в чердачную дверь, которая была закрыта на фальшивый замок. Она ощупывала и оглаживала новенькую винтовку с оптическим прицелом, как долгожданного ребёнка, помолодев сразу на пару десятков лет. Опомнившись, Наталья подошла к чердачному окну. Внимательно посмотрев на стоящий напротив особняк, она вдруг поняла, что ничего не получится. Видеокамеры, невидимые с земли, постоянно наблюдали за территорией около дома, а одна была направлена в сторону пятиэтажки.

Риск был велик и не оправдывал себя. Но если посмотреть глазами заказчика, с другой стороны, кто такая Наталья? Да просто продолжение винтовки. И почему её жизнью должны дорожить? Наталья сидела на чердаке на грязном ящике и размышляла, как ей поступить. Решение пришло внезапно.

Через неделю она вернулась в переулок, но теперь в сумке у неё лежали коробочка с неким специальным приспособлением, оранжевый жилет и широкая металлическая лопата. Укрывшись в ближайшей подворотне, она вышла оттуда проворной дворничихой и начала скрести переулок. За час, пока машина к подъезду ещё не была подана, она отскребла противоположную сторону и как только увидела, что машина подъезжает, перешла на сторону особняка.

Автомобиль был с тонированными стёклами и производил впечатление крепости на колёсах. Подобравшись к нему поближе, Наталья вынула коробочку, достала оттуда маленький шарик и, невидимая для камер, присела за высоким корпусом машины. Шести секунд хватило, чтобы замкнуть колпачок ниппеля на точно такой же. Правда над конструкцией и испытаниями этого колпачка, идея которого пришла к ней от отчаяния и безнадёжности, пришлось провозиться всю неделю, испортив кислотой кухонный стол.

Никто не обратил на неё внимания. Вечером в «Дорожном патруле» продемонстрировали жуткую автокатастрофу с множеством жертв. Перевернувшаяся, покалеченная машина была той самой. Скоро на недавно открытый счёт Натальи была переведена кругленькая сумма. Придя в

храм и задрав голову, Наталья радостно прошептала: «Один ноль в нашу пользу, Господи. Слышишь, мамочка? Моя война началась!»

Во второй раз понадобилась винтовка. И как ни жаль было, пришлось её бросить на чердаке. Уходя, она со слезами оглядывалась на неё, уже забыв о человеке, лежащем на асфальте с дыркой в голове.

Прошёл год. Наталья оказалась удачливым исполнителем. Поползли в криминальных кругах слухи, что появился киллер под кличкой «Македонский». Ни одно задание не было провалено, ни одного отпечатка не было оставлено, и только два человека – заказчик и исполнитель – знали, что «Македонский» – это безобидная женщина-пенсионерка. Милиция с ног сбилась, разыскивая убийцу. Даже самые ловкие следователи не могли отыскать его следов. Как водится, большие люди брали дело под свой контроль, но время шло, происходили другие громкие заказные убийства. Расследования затягивались, молва стихала. Новое задание, – и опять гул возмущения, тщетные попытки правоохранительных органов, телевизионные кадры похорон и скорбные лица братков, обещавших отомстить.

И вдруг все СМИ зашумели – «Македонский» пойман. Наталья с интересом слушала комментаторов, читала статьи в газетах, но понять ничего не могла. Догадывалась только, что уж больно нужен был этот «Македонский», и кто-то совсем не хотел расставаться с тёплым местечком. Но тут перестали приходить сообщения по секретной почте. И опять Наталья терялась в догадках, что бы это значило.

Прошёл ещё год. Компьютер стоял в углу. Наталья, забросив интернет, все реже и реже заглядывала в особую почту.

Она почувствовала облегчение, как будто после тяжёлой сессии у неё должны были наступить прекрасные длинные каникулы. Одно мучило её, одна мишень не была поражена. Перед её мысленным взором постоянно стоял тот, который втравил её в это дело. С каким бы удовольствием разобралась она с этим хозяином жизни, с дирижёром этой убойной постановки. Но, увы, связь прервалась.

Близилось Рождество, годовщина маминой смерти. У неё давно вошло в привычку заходить в эти дни в храм и оставлять там определённые суммы. Она с тоской думала, что не доходят они до нуждающихся, но небольшое облегчение она при этом все-таки испытывала.

Наталья начала маяться и стала подумывать о том, чтобы куда-нибудь уехать.

В одной турфирме на Тверском бульваре опытный персонал мгновенно разглядел в ней богатого клиента. Её усадили в кресло, принесли кофе и завели неспешный разговор о жизни. Спортивная юность позволяла ей много путешествовать, и Наталья вполне смогла поддержать беседу, вы-

звав уважение персонала. Смущаясь, она призналась, что муж у неё был военный, они много ездили, но он давно умер. Это многое объясняло, и постепенно насторожённость исчезла. Потом Наталья рассказала, что уже много лет мечтает попасть в Доминиканскую Республику. Это был один из самых дорогих туров, и Наталье об этом тут же сообщили. Но та поведала, что больна неизлечимой формой церебральной анескезии, и только в Доминиканской республике есть шаманы вуду, которые могут помочь. Любимый племянник (Наталья промокнула глаза), которого она вырастила, готов оплатить ей любые расходы по лечению этой достаточно редкой болезни. Персонал окончательно размяк, побежал к компьютерам, и уже через час Наталья оказалась владелицей персонального тура, стоимостью в несколько тысяч долларов. Вылет был намечен через два месяца, на конец марта. Припрятав билеты и паспорт с визой, Наталья решила перед отъездом привести себя в порядок: полностью обследоваться и посетить косметологов. Она оделась поприличней, причесалась, подкрасилась и начала ходить по врачам. Косметологи предложили ей лечь на неделю в клинику, из которой она вышла прекрасно сохранившейся сорокалетней дамой.

До отъезда оставалось несколько дней. Все было готово. Оставалось зайти к соседке и передать ей ключ от почтового ящика. Соседка была старой маминой приятельницей, когда-то им предоставили эти квартиры от завода, где они работали с войны. Наталья всегда очень тревожно относилась к почтовому ящику, справедливо предполагая, что, набитый рекламой, он может привлечь внимание грабителей. Соседка была одинокая, но избегала всяческих лишних контактов, опасаясь за сохранность имущества и квартиру. Наталью она принимала сухо, стоя в прихожей, интуитивно чувствуя и осуждая её двойную жизнь. Для Натальи соседка была частью той жизни, где ещё не было места для убийства и мести. Но, позвонив в дверь, она не услышала привычного шарканья. Открылась дверь другой квартиры и другая соседка, высунувшись, сообщила, что тётю Машу увезла скорая, у неё инфаркт. Вроде все деньги у неё в каком-то банке сгорели, она очень переживала, вот и свалилась. «Мало я их, сволочей!» – Мечась по квартире, бормотала Наталья. В больницу она попала только через два дня. В палате лежало восемь старух. Запах сшибал с ног ещё в коридоре. Соседку она не узнала. На Наталью с испутом и болью смотрела маленькая старушка с темным морщинистым личиком. Она перебирала жёлтыми в синяках сухонькими ручками подсунутый под неё кусок клеёнки и жалобно скулила. «Мокрая который день лежит, загниёт скоро», – авторитетно заявила бабушка на соседней кровати. Наталья бросилась к врачу. «Все уже ушли, – объяснила молоденькая санитарка. – Идите к главному». Наталья

побежала в соседний корпус. «У нас есть платное отделение, но ваша знакомая не сможет оплатить», – спокойно заметил главный. «Сто», – коротко бросил он, отвечая на немой вопрос. «Плачу, – так же коротко ответила Наталья. – За два месяца сразу, – сказала она, вынимая пачку долларов. – Переводите, но чтобы сейчас же». Потом, в одноместной палате, с телевизором и индивидуальным постом, она, наклонившись к вымытой и накормленной старухе, шептала: «Не бойся, я за все заплатила. Сколько ты потеряла в банке?» «Пятьсот долларов», – прошептала та. «Я приеду, и мне их отдадут, не переживай». Дома она договорилась с соседкой, что та будет навещать старуху. «Смотри, если что, – ты мне за неё отвечаешь головой». Оставив деньги на расходы, она обещала следить за событиями. До отъезда оставалось всего ничего.

Наталья задумала стартовать из гостиницы. Нужно было только зайти домой, забрать билеты, документы и деньги. Она поднялась к себе и, открывая входную дверь, услышала, что у неё звонит телефон. Войдя в квартиру, Наталья сняла трубку, но на другом конце провода молчали. Наталья удивилась и встревожилась, но потом, немного успокоившись, стала собираться. Вытащила старые простыни, накрыла мебель, стала размораживать холодильник. Занятие это могло выйти на весь вечер. Наталья поставила на плиту чайник и включила телевизор. В этот момент раздался звонок в дверь. Наталья чертыхнулась, прикрыла платком изменившееся, после клиники, лицо и пошла открывать.

– Кто? – Раздражённо спросила Наталья.

– Из ЖЭКа, плановая проверка отопления.

– А почему так поздно?

– Мы приходили, никого дома не было.

Действительно, не было, – подумала Наталья, открывая дверь.

Станный это был «сантехник», уж больно холеное у него было лицо. И тут Наталья его узнала. Это была долгожданная последняя мишень.

– Это вы? – Ахнула она. – Вы живы? Почта уже год как молчит, я думала, все уже закончено, я от вас освободилась.

– Да-да, все так изменилось, – пробормотал, не слушая её, «сантехник». – Вот приехал, поживу у вас, не прогоните?

– А я собралась уезжать, – растерянно произнесла Наталья.

– Мне показалось, что это единственное место, где меня не будут искать, – продолжал он. – Вам ведь тоже невыгодно, чтобы нашли, верно?

– Ну что же, раздевайтесь, проходите, чай готов, места много. Конечно... Наталья замолчала.

– Что конечно?

– Да продуктов нет, холодильник разморозила, а вы, наверное, голодны.

Давайте выпьем чаю, а потом вы ходите в магазин в соседнем доме, он круглосуточный.

– Ладно, сгоняю, а вы не убежите?

– Вместе пойдём, а то я не дотащу, артрит замучил, руки не гнутся.

Она шаркающей старушечьей походкой пошла в кухню. Пока «сантехник» раздевался, Наталья быстро выхватила из шкафчика маленький пузырёк и плеснула на дно чашки. Из глубины вытащила второй и спрятала в карман необъятной юбки. Это был яд с отсроченной смертью и противоядие от него. «Сантехник» вошёл, посмотрел на Наталью и засмеялся.

– Ну, давайте знакомиться заново. Николай. Да вы снимите платок. Знаю, что в клинике лежали, дайте посмотреть, – он стянул платок.

– Неплохо сделали, гады. Теперь вам с таким личиком совсем не резон попадаться. Надеюсь, все будет без глупостей? Ладно, отсижусь у вас, опять начнём. Давайте свой чай. Что такая бедность?

– Я же не знала, что осчастливите. И потом, хотела завтра в деревню, к свойственникам сгонять. Все подъела.

– Запасы надо иметь. Денег, небось, куча.

Да и у тебя, наверное, не мало. Кормился за мой счёт все это время, злобно подумала Наталья.

Чай был налит, сахар положен, Николай долго рассматривал чашку, нюхал. Наталья сидела, опустив глаза, ни жива, ни мертва.

– Какой у вас чай? – спросил Николай.

– Зелёный, я только его последний год пью, – она залпом выпила свой.

– Давайте пейте и пойдём, потом поговорим, будем ужин готовить и пообщаемся.

Наталья вышла в прихожую и стала одеваться.

– У вас деньги-то есть? У меня только доллары остались, а обмен здесь плохой, – прокричала она из коридора.

– Есть, есть.

Наталья видела, как он, вставая, отхлебнул чай и направился в прихожую, держа почти пустую чашку в руке.

– Давайте, чтобы мне было спокойней, допейте, попросил он.

– Я ведь пила, – проговорила она, – целую чашку, – её голос дрогнул, и

Николай насторожился. Он подскочил к ней с перекошенным лицом, одной рукой сунул ей под нос остатки чая, другой – высвобождая пистолет из кармана брюк.

– Да конечно допью, не волнуйтесь, давайте сюда. – Наталья одной рукой схватила чашку, одновременно пытаясь нащарить в кармане пузырёк с противоядием. Но Николай не давал ей возможности сделать ни одного опрометчивого движения. Он схватил её за руку и вытащил на улицу.

– Вместе не выходим. Сначала вы, и ждёте меня на углу. – Наталья попыталась его урезонить.

– Все, матушка, потеряно доверие, теперь только вместе.

Они, как влюблённая пара, дошли в обнимку до магазина, и тут Николай вынужден был отпустить, начинавшую неметь, руку Натальи. Когда они брали тележки, она, отвернувшись, все-таки успела опорожнить пузырьёк, лежащий в кармане.

Наталья начала медленный обход. Положив в свою тележку только хлеб, она кивком показывала Николаю, что брать. Через полчаса они стояли у касс. Было поздно, кассирши боролись со сном, касс, вместо обычных шести, работало всего две, народу было много. Николай стоял за ней через два человека. Был он бодр, и Наталья заволновалась.

Подойдя к кассе, она устроила скандал. Она кричала, что взяла половину «дарницкого», а ей пробили, как за «бородинский». Вызвали заведующую. Та, пытаясь сгладить ситуацию, доказывала Наталье, что кассир права. Николай, забывший уже инцидент, наблюдал за всем этим с весёлым недоумением. Наконец, с Натальей разобрались. К кассе подошёл Николай, ему насчитали приличную сумму. Вытаскивая бумажник, он вдруг побледнел и пошатнулся. Через минуту все было кончено. Наталья, как и все, подошла к труп, поохала, потом взяла хлеб и двинулась к дому. Там, не раздеваясь, схватила приготовленный свёрточек с документами и кинулась в аэропорт.

Турбины самолёта взревели, толчок – и земля стала стремительно удаляться, наклоняясь... «Господи, ну скажи, что я все сделала правильно», – взмолилась она. Перед глазами возникло видение золотого пляжа, она улыбнулась и расслабилась. Правда, полностью отдаться блаженству мешала притаившаяся где-то в глубине сознания мысль, – не слишком ли поздно она приняла противоядие?

Евгения Мильченко

* * *

Мне слышались в нависшей тишине
напевы капель в старом водостоке.
Там ветер, вспоминая обо мне,
стонал, порезавшись об острый край осоки
и незаметно слизывая кровь.
Дождем стегало тощую осину,
и остро пахла вспаханная новь.
Вот скрыл туман болото и низину.
Так, замечая признаки весны,
из глины тишины леплю я сны.

* * *

Влюбившись горько в осенние астры,
В ветви пурпурной ранетки,
Светильник хрупкий, алебастровый
Рук моих грею теплом подсветки –
Тусклой в вагонах трамвайных,
В поручни мёртво вцепившись.
Грустно читаю в лицах случайных –
Прошное и несбывшееся.
Тщетно тоскую по родному краю
Цепкой бездомной болью.
Города шумного не замечая,
Бреду по улицам, как по полю.

* * *

В снежном мареве города окон огни,
В этом сонном пространстве ни края, ни дна,
В этих сумерках слиты и ночи, и дни,
В этом спящем царстве поёт тишина.

Сквозь немые просторы дворов и дорог,
В гулких арках домов, в забытье новостроек
Разглядеть он сумеет в сутолоке строк
Потаённые смыслы, омертвевшие в слове.
И тогда, словно хлеб, разделю эту боль,
Раздеру одиночество с воплем и воем.
И прочтёт он меня, как забытый пароль
К сокровенному миру, умершему в слове.

Леонид Аранов

РУССКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ

(почти был)

Париж. Поздняя осень 1922 года. Утро в редакции прокоммунистической газеты «Юманите». Главный редактор Марсель Кашен попросил секретаршу принести кофе и уединился в кабинете с молодой стажёркой Мари Этьен.

– У меня вчера была долгая беседа с Армандом Хаммером, знаешь, кто это, а, девочка? Ты пей кофе, булочку бери. Так знаешь? Нет? – Кашен набивал трубку, лукаво поглядывая на стажёрку. – Это крупный американский бизнесмен, он здесь проездом в Россию. Он вложил немалые деньги в нашу газету, значит, верит в то, что «Юманите» очень скоро станет приносить прибыль. В Советской России перед Армандом открыты все двери. Его задача – Ленин, концессии, бизнес. У нас другие интересы. Какие? Ты читала, что Уэллс пишет о России? Он пишет, что Россия во мгле, а Ленин всего лишь кремлёвский мечтатель. Возможно, он прав. Но нам нужен тираж, а это значит – нужен горячий материал, о том, что Россия заново рождается и крепнет. Хорошо бы взять интервью у красного комиссара Троцкого и сделать его портретные наброски. Согласна? Вот ты и поедешь в Москву вместе с Хаммером, он поможет тебе выйти на Троцкого, и более того, ты всегда сможешь обратиться к нему от моего имени. Он мне весьма обязан. Ты понимаешь?

– Хаммер, он кто? Социалист или коммунист? – Робко спросила Мари.

– Нет, он просто бизнесмен. Бизнесмен международного масштаба. Как сказал в своё время Карл Маркс, «призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Это Хаммер понял раньше других и придумал, как заставить этот призрак поработать на него. Что касается Троцкого, я уверен, именно этот красный комиссар поднимет Россию, сделает её сильной, как в своё время генерал Наполеон Бонапарт поднял Францию, став её императором.

– Но Наполеон Бонапарт, сделав сильной Францию, разорил всю Европу. Что же нам тогда ждать от комиссара Троцкого? Сделав сильной Россию, Троцкий со своей красной армией непременно пойдёт на Европу. Сначала Польша, потом Германия, а там и Франция, – осторожно заметила Мари.

– В таком случае твоя статья должна стать своего рода предупреждением для наших политиков, заставить их подумать, как управлять Троцким и, соответственно, его армией, – усмехнулся в пышные усы мсье Кашен. – А тебе надо спешить с отъездом, с Хаммером я уже обо всем договорился. Надеюсь, ты понимаешь, что успех твоей поездки весьма поспособствует твоей карьере. Ты едешь в Москву стажёркой, а вернёшься оттуда в другом статусе – станешь заведовать отделом, не меньше ...

Из архивных документов:

«В 1921 году Народный комиссариат внешней торговли РСФСР и хаммеровская компания подписали договор о поставке в Советскую Россию одного миллиона бушелей американской пшеницы в обмен на пушину, чёрную икру и экспроприированные большевиками драгоценности...»

«В 1921 году месье Марсель Кашен помог Арманду Хаммеру связаться со знаменитым парижским ювелирным домом».

Мари Этьен считалась весьма перспективным журналистом. Она окончила Сорбонну с углублённым изучением русского языка и художественную школу в Париже. Выбор месье Кашена здесь был не случаен, тем более что было известно, что в детстве Мари вместе с отцом-дипломатом несколько лет прожила в России. Для себя поездку в Россию Мари решила легко. Она была очень впечатлительна, не раз читала патетические воззвания Троцкого к рабочим и видела его портрет. Воображение рисовало ей некоего мифического героя. Но дома у неё был отец, очень консервативно настроенный. Несколько дней она ломала голову, как подступиться к родителям... Этьен-старший, узнавший, что дочь собирается ехать в Россию, был возмущён. Он кричал, умолял, уговаривал: – Это страна, где к власти пришли варвары со своими людоедскими законами. Не будем говорить о политике, но они своих женщин делают просто наложницами. А с чужестранками вовсе церемониться не будут. Почитай вот этот их декрет, увидишь, что тебя ждёт.

Из документов того времени:

«...Саратовский Губернский Совет Народных Комиссаровъ съ одобренія Исполнительного комитета Губернскаго Совета Рабочихъ, Солдатскихъ и Крестьянскихъ Депутатовъ постановилъ:

§1. Съ 1 января 1918 года отменяется право постоянного владения женщинами, достигшими 17 лет и до 30 лет

§3. За бывшими владельцами (мужьями) сохраняется право въ неочередное пользование своей женой.

Примечание: Въ случае противодействія бывшего мужа въ проведеніи сего декрета въ жизнь, онъ лишается права предоставляемого ему настоящей статьей.

§4. Все женщины, которые подходят подъ настоящей декретъ, избираются изъ частного постоянного владенія и объявляются достояніемъ всего трудового народа.

§5. Распределение заведыванія отчужденныхъ жсницъ предоставляется (Сов. Раб. Солд. и Крест. Депутатовъ Губернскому, Уезднымъ и Сельскимъ по принадлежности).

§6. Граждане мущины имеютъ право пользоваться женщиной не чаще четырехъ разъ за неделю и не более 3-хъ часовъ при соблюденіи условий указанныхъ ниже.

§8. Каждый мущина, желающій воспользоваться экземпляромъ народнаго достоянія, долженъ представить отъ рабочезаводского комитета или профессиональнаго союза удостовѣреніе о принадлежности своей къ трудовому классу.

§9. Не принадлежащіе къ трудовому классу мущины пріобретаютъ право воспользоваться отчужденными женщинами при условии ежемѣсячнаго взноса указаннаго въ §8 в фондъ 1000 руб.

§10. Все женщины, объявленныя настоящимъ декретомъ народнымъ достояніемъ, получаютъ изъ фонда народнаго поколенія вспомошествованіе въ размѣре 280 руб. въ мѣсяцъ.

§11. Женщины забеременѣвшіе освобождаются отъ своихъ обязанностей прямыхъ и государственныхъ въ теченіе 4-хъ мѣсяцевъ (3 мѣсяца до и одинъ после родовъ).

– Неужели этого мало? – вопрошал разгневанный отецъ.

– Я не собираюсь в Саратов, – Мари была невозмутима. – Я еду только в Москву, только на встречу с Троцким в компании цивилизованных людей, – кратко ответила Мари и вышла.

Арманд Хаммер не обманул ожиданія Кашена: на следующий же день после их приезда в Москву юной журналистке удалось встретиться с одним из высших иерархов Советской России – Львом Давидовичем Бронштейном-Троцким. Увидев в своем кабинетѣ женщину, нарком обороны произнёс: – Задавайте скорей Ваши вопросы, у меня совсем нетъ свободнаго времени. Меня ждётъ наша Красная Армія.

– Я совсем не отниму у вас времени. Вы работайте, а я, не отвлекая вас, сделаю несколько карандашных набросков, а затем... хотелось бы услышать ваше мнѣніе по некоторым вопросам, которые интересуютъ чита-

телей нашей газеты», – несмело проговорила Мари. Троцкий оторвался от своих бумаг и, наконец, посмотрел в глаза молодого интервьюера. Он вдруг неожиданно для себя увидел очень молодую изящную женщину, вопросительно смотрящую на него.

Шло время, Мари сделала уже массу портретных зарисовок и полноценное интервью, стенографически ею записанное. Однако встречи продолжались, теперь уже по инициативе наркома обороны. Спустя две недели Мари Этьен возвращалась в Париж. Её сумочка была забита бесконечными текстами и карандашными зарисовками. Но это не все – она увозила в Париж плод внезапно нахлынувшей страсти со вторым человеком Советского государства. Но об этом наркому обороны узнать было не суждено. После смерти Ленина в стране воцарился новый вождь, Иосиф Сталин. А вдохновитель и организатор Красной Армии должен был покинуть Советскую Россию и стать эмигрантом в Мексике. Однако авторитет и мировая известность Льва Троцкого все-таки мешали товарищу Сталину утвердиться в безраздельной власти. И только ледоруб, настигший Троцкого в Мексике, позволил Сталину стать не только единоправным вождём Советского государства, но и всего мирового коммунистического движения – III Интернационала. Рождение младенца у Мари Этьен в семье было воспринято неоднозначно, её отец долго не мог примириться с появлением внебрачного внука. Но на втором году жизни бойкий и смыслённый малыш сумел покорить сердце строгого родителя Мари. Из того, кто отец ребёнка, особой тайны не делали, мать учила его русскому языку, много рассказывала о России и дала ему имя своего кумира – Лев-Давид и свою фамилию Этьен. Она надеялась, что он пойдёт по её журналистским стопам. Но этого не случилось – в восемнадцатилетнем возрасте Лев-Давид Этьен сражался в рядах французского «Сопротивления», а после окончания войны поступил в высшую военную школу Парижа. На выпускных экзаменах председателем комиссии оказался некий генерал с русской фамилией – Пешков. Пешков явно скучал. Однообразные вопросы комиссии и скучные на них ответы его уже утомили. Но неожиданно секретарь комиссии произнёс: – Лев-Давид Этьен, прошу подойти к кафедре. От этого сочетания имён «Лев-Давид» Пешков преобразился, он невольно вспомнил далёкую Россию и внимательно посмотрел на немного сутулого молодого человека, быстро идущего к кафедре. Его чёткие быстрые ответы отражали почти академические знания, а весь облик выражал самоуверенность и ум.

– Я вас прошу задержаться, – обратился к нему Пешков, когда вопросы комиссии закончились. – После экзамена я буду ждать вас в соседней аудитории.

Знакомство генерала с Этьеном произошло без лишних формально-

стей. Этьен сразу понял, что генерал – бывший российский подданный и потому заявил: – Со мной можно говорить по-русски. Я сын красного комиссара Льва Троцкого. Мать и назвала меня так в его честь. Хотя красный комиссар никогда не знал о моем существовании. Ведь вас именно это интересовало?

– Я не разделял взгляды Льва Давидовича, – сказал генерал.

– Я тоже. Я гражданин Франции и антикоммунист.

– И я, – продолжил генерал.

– Но я очень уважаю свою мать, несмотря на её крайне левые взгляды, – отвечал молодой человек.

– И это прекрасно. Вы избрали путь, достойный сильного человека. Вы без сомнения всего добьётесь сами, но я хотел бы помочь в вашей карьере. Я приглашаю вас в кафе (Пешков назвал адрес), там и поговорим.

Уже в уютном кафе, за столиком, генерал продолжал:

– Своей фамилией Пешков я обязан известному русскому писателю Максиму Горькому. Он многому меня научил, я стал его приёмным сыном, он дал мне работу и свою фамилию – Пешков. Полжизни я отдал службе в Иностранном легионе. И продолжаю там служить, даже будучи в отставке. Сейчас много пишут грязи о солдатах Иностранного легиона. Но должен сказать, в подавляющем большинстве – это солдаты, достойные уважения. Их усилия, способность к самопожертвованию вызывает восхищение. Французский иностранный легион много унаследовал от Римского легиона. Везде, где проходят легионеры, прокладываются дороги, возводятся дома. Здесь европейцы выполняют свою задачу обучения современной технике местное население. Посетив Марокко с промежутком в 3 года, я не узнал его городов, так они изменились к лучшему. Я рекомендую вам ознакомиться с моей книгой «Звуки горна. Жизнь в Иностранном легионе». Пусть вас не смущает моя протекция, я достаточно разбираюсь в людях. Я предлагаю вам службу офицера Иностранного легиона, который сегодня защищает интересы Франции и жизнь наших граждан, коренных французов, в Алжире. Уже давно Алжир – это департамент Франции, а не колония. Так же как департамент Корсика, которая подарила Франции императора Наполеона. Сегодня террористические акты против этнических французов в Алжире стали нормой. Генерал де Голль считает, что в скором будущем мы должны предоставить полную независимость Алжиру. Его нужно достойно покинуть. Поэтому сегодня Французский Иностранный легион очень нуждается в талантливых и сильных офицерах. Я прошу вас подумать о моем предложении. Вот моя визитная карточка. – Закончил своё повествование генерал Пешков. Он пожал руку младшему офицеру, и они расстались.

В январе 1954 года в Алжир для прохождения службы во французском Иностранном легионе прибыл молодой офицер Лев-Давид Этьен. Это был последний год относительного спокойствия для Алжира, и служба для Этьена была не слишком обременительной.

Но вскоре сепаратисты пошли в наступление на французское население Алжира – расстреляло французских детей в школьном автобусе. И в этот же день был устроен погром среди белых поселенцев, а женщин насиловали и подвергали мученической смерти. И только десант Иностранного легиона сумел подавить этот мятеж и остановить дальнейшее кровопролитие.

Новый 1955 год ознаменовался мощным взрывом недалеко от казармы. И началось: и кровь, и грязь, и стоны, крики... ворота у казармы наглухо закрыты.

На внеочередном офицерском собрании Этьена назначают командиром оперативного отряда десанта и поздравляют его с внеочередным званием майора.

Все это время Пешков много помогает Иностранному Легиону, хотя непосредственно в нем уже не служит. Он в отставке, ему уже за 70 лет, но работает в качестве советника в кабинете министров Шарля де Голля. Вообще, в легионе русских служит немало. После поражения белого движения, ряды легиона пополнило значительное число бывших офицеров царской армии, отличавшихся великолепной подготовкой и дисциплиной. Во многом, именно благодаря русским, Франция сумела добиться больших успехов в конфликтах 20-х годов против восставших племён Африки.

В декабре 1958 года президентом Франции был избран Шарль де Голль. Вскоре после этого в 1959 году армия французского Иностранного легиона в Алжире ликвидирует восстание арабских террористов. Но все это время в континентальной Франции левая интеллигенция обвиняет армию Иностранного легиона в жестокости и требует предоставления независимости Алжиру. Под давлением общественности и, не желая портить укрепившиеся отношения с Советским Союзом, в 1959 г. де Голль проводит референдум о независимости Алжира, а в 1960 г. требует вывода Иностранного легиона с территории Алжира. В то же время в Швейцарии в условиях конспирации состоялся съезд офицеров французской армии, спецслужб и гражданских «ультраправых», недовольных алжирской политикой президента де Голля. Была создана нелегальная военная организация OAS, целью которой была защита белого населения от мусульманского мира, и прежде всего защита этнических французов в Алжире. И это, в свою очередь, привлекло в организацию много патриотически настроенных офицеров, среди которых был Лев-Давид Этьен.

Иностранный легион вместе с другими воинскими подразделениями перебазировались во Францию, оставив свои казармы и многое военное снаряжение в Алжире. Майор Этьен, в жилах которого текла горячая кровь российского наркома обороны, оказался перед выбором: проявить лояльность к правительству де Голля или уйти в подполье. Мучимый сомнениями Этьен пишет письмо своему учителю генералу Пешкову. Спустя некоторое время Этьену приходит телеграмма «Остаюсь легионером на службе президента де Голля. OAS – вне закона. Пешков».

Но Этьен понимал законы воинской чести несколько иначе. Он слишком долго боролся с арабским терроризмом в Алжире, и сложить оружие сейчас, находясь в Европе, казалось ему уступкой арабам – теперь полноправным гражданам его страны, Франции. «Теперь, – думал он, – толпа арабов из Алжира начнёт заявлять свои права в родной моей земле и тревожить прах моих предков».

Спираль насилия с обеих сторон раскручивалась.

Очень скоро OAS распространила свою деятельность не только на Францию и Алжир, но и на другие страны Европы. В Алжире и во Франции были убиты сотни арабов, которые были причислены к террористам. В ответ были совершены покушения на сенаторов, депутатов Национального собрания и журналистов. Были убиты несколько высокопоставленных полицейских, поддерживавших де Голля. Это в свою очередь привело к мобилизации всех правительственных сил в борьбе с OAS. Сама организация была объявлена профашистской.

В это горячее время Лев-Давид Этьен прибывает в Париж и узнает, что его давно разыскивает бывший учитель генерал Пешков. Их встреча состоялась на квартире генерала. Молча указав на кресло, Пешков, как бы, продолжил начатую речь:

– Ты по-прежнему служишь в Иностранном легионе?

– Нет, я служу в другом легионе. Я с теми, кто выступает против арабских боевиков и против политики де Голля;

– Очень сожалею. Знаю, о каком легионе ты говоришь. Я прошёл путь гражданской войны в России и многих других войн. А ты гражданин Франции и обязан выполнять её законы. Помни OAS – вне закона.

– Все так. Но президент де Голль предал французский Алжир. Там убивают французов, а мусульманский мир уже идёт в Европу.

– Но это не повод мстить всей Франции.

– Господин генерал, Вы меня не поняли. Позвольте я уйду.

Это была последняя встреча двух людей, так крепко и так причудливо связанных и с Россией, и с Францией и так по-разному понимающих законы офицерской чести.

Летом 1962 года со стороны OAS на президента де Голля началась охота. В одном из неудачных покушений на него участвовал и майор Этьен. После его раскрытия Этьену удаётся бежать в Германию, но очень скоро спецслужбы Франции похищают Льва – Давида Этьена из мюнхенского отеля и вывозят его на территорию Франции.

В тот же день в парижской квартире Пешкова неожиданно раздался телефонный звонок, и бесстрастный голос сообщил: «с вами желает говорить президент Франции». И через несколько секунд послышалось:

– Здравствуйте, господин генерал. Как у старшего по званию не могу не узнать ваше мнение в связи с арестом известного вам Льва Этьена.

– Господин президент, считаю, что закон должен быть законом для всех.

Лев-Давид Этьен был приговорен к длительному сроку заключения, однако, при перевозке в тюрьму Этьен был застрелен при попытке к бегству.

К концу 1963 года с организацией OAS было покончено, хотя отдельные подпольные ячейки OAS действовали ещё некоторое время.

Бывший майор Иностранного легиона Лев-Давид Этьен был активным участником запрещённой организации OAS. Свои убеждения он отстаивал в рядах Французского Сопротивления 40-х годов и был верен себе в эпоху 60-х. Выступая против выхода французской армии из Алжира, он, как мог, защищал честь Франции и французских граждан в Алжире, борясь против мусульманской эмиграции во Францию и в Европу. Он с оружием в руках защищал Алжир как департамент Франции. Все это привело его к серьёзной конфронтации с другим членом Иностранного легиона, его наставником генералом Пешковым, а затем поставило вне закона как французского гражданина.

Был ли он патриотом или преступником? Пусть рассудит история.

Во всяком случае, он погиб как солдат и от рук солдат. Все они выполняли свой долг перед Францией, но понимали его по-разному.

По-другому окончил свои дни другой – самый знаменитый – легионер Франции Зиновий Пешков. Он умер в американском госпитале в 1966 г. в возрасте 80 лет. Похоронен приёмный сын Горького на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже. На его похоронах присутствовал весь цвет французской политической и военной элиты.

На траурной процессии, как и завещал Пешков, гроб сопровождал караул из легионеров, которые несли три подушки с его наградами, знамёна русских добровольцев двух мировых войн, ярко выделявшиеся на фоне икон, украшенных золотом.

Свеча, горевшая в изголовье гроба, освещала то, что он брал с собой в могилу – портрет М. Горького, Военную медаль и Большой Крест Почётного легиона.

Среди провожавших в последний путь Пешкова обращала на себя внимание красивая статная женщина, державшаяся за руку юноши лет пятнадцати. На вопрос дотошного журналиста: «Простите мадам, кто вы?», он услышал:

– Я мать его сына.

И она растворилась в толпе провожающих. Кто была эта женщина? Красивая и загадочная история.

Сергей Филиппов

* * *

Все до мелочи знакомо
И обыденно весьма,
Сонных улочек истома,
Деревянные дома.

Те же запахи и краски,
Что и двадцать лет назад,
Жизнь без каждодневной встряски,
Устоявшийся уклад.

Так все вышло, так сложилось,
Тот же круг из тех же лиц,
Их природная сонливость
Непривычна для столиц.

Это свойство всех провинций,
Их всеобщего родства,
Где размеренность, как принцип
И как форма существа.

* * *

Как пламя горю, и не гасну,
Как мачта трещу, но не гнусь.
Неопытность-это прекрасно,
Отсутствие опыта-плюс.

«Возможно, но очень не скоро»,
«Достаточно, но не вполне».
Наличие опыта-фора,
Отсутствие-фора вдвойне.

Не сетуйте, если нарушу
Привычный порядок и ход,
Неопытность рвется наружу
И трется, как рыба об лед.

И не принимает отсрочек,
И не объясняет причин.
И ищет свой собственный почерк,
Который не спутать ни с чьим.

ФОНТАННЫЙ ДОМ

Под пылью прожитых столетий
Судьбы и времени портрет
Фонтанный дом – живой свидетель
И очевидец прошлых лет.

Как каждый истинный художник,
Встающий с кистью к полотну,
Ты тоже «времени заложник»,
И Ты у «времени в плену».

Но он во времени рождаясь,
В нем проживая каждый час,
С ним полностью отождествляясь,
Опередит его не раз.

Не сожалеть о горькой чаше,
Не плакать о судьбе навзрыд,
Бог вечен, что его, то наше,
Все, что он создал, сохранит.

ВИШНЕВЫЙ САД

Опять дают «Вишнёвый сад».
Вновь Гаев, обращаясь к шкафу
С очередной из тирад,
Готов снять перед шкафом шляпу.

Лопахин, как ребенок рад,
Что он купил Вишневый сад,
Хоть не было большого смысла.
Уехав, все забыли Фирса.
Гаев смешон, Лопахин рад,
Под топорами мужиков
Россия, вырубают сад
И забывают стариков.

* * *

Спешили все, и стар и мал,
День, как обычно, был не прост.
В сторонке странный пес лежал,
Лежал, как будто в землю врос.

Стоял ноябрь, мокрый снег
Над мрачной улицей кружил,
И он, единственный из всех,
Не торопился, не спешил.

Бежали люди, стар и мал,
И всяк свою заботу нёс,
А он, по-прежнему, лежал,
Лежал, как будто, в землю врос.

Все как один, и стар и мал,
Спешили. Может, потому
Никто его не замечал,
А я завидовал ему.

Ольга Мельникова

Предлагаемые вниманию читателей мемуары принадлежат участнику описываемых событий времён Второй мировой войны в Белоруссии. Текст стилистически очень органичен, неповторимы говор рассказчицы, её интонации. Мы решили никак не редактировать это повествование, оставив без изменений и авторский язык, и авторскую пунктуацию.

Это завершающая – третья – часть воспоминаний Ольги Мельниковой. Вторую часть мы опубликовали в 19-м номере нашего журнала. Первую часть напечатал журнал «Новый мир» в № 11 за 2013 г. Последняя часть воспоминаний даётся в сокращении.

Запись, подготовка текста, комментарии и публикация
Алексея Мельникова.

ЧАСТЬ III

ТЯРПИ, ЗОСЯ, ЯК ПРИШЛОСЯ!

Воспоминания о детстве в советской Белоруссии

ПРОЛОГ

Старая мать и верная смерть

«Я тебя, Лёня, буду любить! И за ребёнком буду глядеть». Это один жених (жених) говорил моей маме. Батька наш так сказать не мог, с него – даже под пистолетом таких слов не выпросишь. Это между 1930-м и 1932-м: Зина уже родилась, Лена ещё нет. Маме было от 18-ти до 20-ти лет, она уже жила с батькой, но расписаны они не были! Значит, можно было свататься. Откуда брались женихи – мама не сказала. Но все трое были приезжие, все они были не куцевские. Этот жених, 3-й по счету, точно был штатский, а не военный, и городской, а не колхозник. Может быть, даже западник? Думаю, выйти за него стоило! Батька маму не любил, а жених клялся, что

любит. Ещё в колхозе – и робить тяжко, и платят худо: «Ох, веку мало, да горя много!». А в городе – другая жизнь...

Ну вот, посидел жених с мамой в хатке, и пошла она провожать его. Идёт себе и думает: «Надо за него выходить!» Шли через двор, жених запнулся и растянулся. Не на земле, не на траве, не на песке – а на помоях. На том месте, куда мы выливали нечистоты. А дело было летом, говно-то не замёрзло! Жених испачкался – и разонравился. И мама «нет» ему сказала. Почему быстро так передумала? Так в 18, даже в 20 лет – рассуждения не те, что в 30 или 40. Так мама рассказала. Но могло быть иначе! Например, жених не хотел жить с тещей. Какому зятю она мила – тем паче, если «сдэтынела»? То есть впала в детство. А мама Прузыну бросать не хотела. Бросить старую мать – обречь её на смерть! И тогда умерла бы Прузына – ещё в 1932-м, а не в 1945-м... Батка Коли Рахелева тоже любил мою маму. Это тот самый Коля, что подорвался на mine. А прежде его батка любил помечтать: «Вот, Лёня, мы с тобой не поженились, а как вырастут Коля и Воля – мы их поженим!» Он даже ухаживать пытался за мамой, но за него-то идти она не хотела точно. В 1932-м все мечты пошли прахом! Грянула бумага: «Об установлении единой паспортной системы». Не только мама – любой колхозник потерял право на паспорт и свободу передвижения...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Труд, вернее его избыток – это первая причина, что мешала нашей учёбе...

Наши вечные страхи

«Советская школа выкует лучших// Строителей жизни – городов, полей!// Нам не надо Митрофанушек и недоучек,// Родители, не отрывайте от учёбы детей...» От учёбы отрывали ради заработка! Без грамоты, но сытый – это лучше, чем грамотный, но голодный. Куцевщина стояла как раз между Западной Беларусью и Советской Белоруссией. В 1939-м этот рубеж перестал быть государственной границей. Но западники по-прежнему – были богаче нас, ведь у них осталась частная собственность. Все они жили на хуторах, каждый имел стадо в несколько голов: кони, коровы, овцы. Пасты скотину – вот куда шли старшие: Зина, Лена, Коля. От Пасхи до Покрова, с апреля по октябрь, 6 месяцев в году – какая могла быть учёба? Ну вот, они пасли скотину, а мы с мамой их навещали. Хотя идти было не близко – 12 километров в один конец. Чаще всего – навещали Колю. Он же был меньше всех – моложе и Зины, и Лены. Мама его очень жалела.

Однажды мы долго искали Колю, а потом услышали песню: «Чёрный ворон, что ты выёшься// Над моею головой?// Ты добычи не дождёшься,// Я – солдат ещё живой...» Все наши страхи есть в этой песне: война, голод, тюрьма. Война! Ведь поёт солдат. Голод! Ведь пищу – ворон ищет. Тюрьма! Ведь «чёрный ворон» – не только птица. Так называли автомобиль, что увозил арестантов. И увозил – в один конец...

Услышав песню, мы нашли Колю. Сразу же вопрос: «Чем тебя кормили?» Он в ответ: «Дали с утра – хлеба и сала!» Хлеб он съел сам, сало дал нам: «Не могу его есть! Одно и то же – изо дня в день жёлтое сало. Даже голодному надоест!» Жёлтое – значит старое, но мы с мамой были рады: «Дома сварим суп со щавелем и туда добавим сало!» В общем, мы Колю проводывали, а он нас подкармливал. Западники (хозяева Коли) считали себя «высокой» нацией и всегда старались это подчеркнуть. И спал Коля не в хате, а в каком-то курятнике. Может с того, что был совсем мал? Помнится, взрослые батраки у тех же хозяев – спали в хате. И Зина, и Лена, будучи няньками, тоже спали в хате. Коля все время домой хотел! Начнём прощаться – Коля заплачет, мама заплачет, я плачу с ними...

Русский «зараз» и жидовский «почакай»

Трудились мы все – и дети, и взрослые. Другое дело – взрослые ради работы не бросали учёбу! А мою маму оторвали от учёбы задолго до моего рождения: «Только одну зиму (1919-1920) бегала я в школу!» После чего дед Василий (мамин отец) приставил 8-летнюю дочку к хозяйству. Оно же было большое! Вроде не стоит школу бросать? А с другой стороны – идёт Гражданская Война. И малых, и старых – пачками в расход пускают. Беги домой – будешь живой! «Трэба за добром глядзеть, а не в школу бегать. И добро сбережешь, и в живых останешься». Так мог рассудить дедушка Василий. Увы, грянул 1929-й – и мама осталась в 17 лет и без школьного аттестата, и без родительского имущества. Его отняли 25-тысячники! Большевики в тельняшках – типа Давыдова из «Поднятой целины»...

Колхозные строения были на одном конце Куцевщины, а народ с утра идёт с другого конца. Идя мимо двора, всегда зовут хозяев. Вот они кричат: «Лёня, Лёня, Лёня, выходи!» А Лёня, как правило, не выходила сразу. «А, эта Халимончикова Лёня, пока лавцы все не вымое да хатку всю не подмете, она не пойдзе на работу!» Это между собой говорят, и кричат снова: «Лёня, выходи!» Мама в ответ: «Зараз, зараз (сейчас, сейчас)!» Она была очень чистоплотная. Подметёт земляной пол и песочком посыплет жёлтеньким. Этот песочек в виде горки – насыпан был в сенках у нас. Наш котёк по

нужде туда не лез, он бегал на двор. Думаю, песок мы брали в том же карьёрчике, где солдат закопали в 1945 году...

Наша мама мыла лавки и мела полы – каждое утро. А песочком посыпала – только в праздник. Она метёт, они кричат: «Лёня, выходи!» Она в ответ: «Зараз выйду!» Они: «Твой русский «зараз» – як жидовский «почакай!» (Твоё «сейчас» как «подожди»!) Как часто мели в других хатках? А кто как хотел. Кто и по месяцу не подметал...

Норму не сдал – под суд попал!

Школа наша не горела ни разу! Хотя частые бури – запросто кончались пожаром. От молний солома на крыше вспыхивала, как порох. Бывало: ударит молния, загорится сарай, завизжат свиньи, завоюют собаки, забегают люди! Вспомнить страшно. Однажды поросята отчаянно визжали, к ним уже огонь приближался, и свинарник все-таки вспыхнул, поросят не спасли, они так и сгорели! Я сама не тушила, была совсем мала, стояла как зевака, и так же стояли – не только дети. Бывает, взрослые стоят и смотрят, с огнём не борются: «Не всякому рылу на ярмарку спешить, и без него сторгуются!» Гроза и буря – всегда случались вместе. Дулю (грушу) нашу, самую сладкую на всю Куцевщину, изломала как раз буря. Слава Богу, с нашей хатки крышу ветром не срывало. Но как их сносило – я сама видела, только не помню – где именно, но в Белоруссии. Ветер резко дунул – всю солому снесло мигом, только каркас голый остался...

Однажды колхозники сено в стог укладывали, на самом верху стояла женщина, что сено разравнивала. Вдруг поднялся ветер, женщину буквально подбросило над стогом и швырнуло вниз. Было высоко, но ей повезло – на сено упала она, не на землю. Потому и живая осталась. Упала бы на землю – могла бы шею или хребет сломать, уж не знаю: что хуже? Такие бури случались каждое лето...

Но были и другие опасности. Норму не сдал – под суд попал. Хлеб и лен, молоко, мясо и яйца – любая норма пахла тюрьмой. Видимо, поэтому не было преступников в нашей Куцевщине! Ну, когда нарушать закон, если ты пашешь день и ночь? Преступников нету – ловить их не надо. «Моя милиция меня бережёт?» Сроду я не помню никакой милиции! Ни в Куцевщине (прямо у нас), ни в Богоровщине (рядом с нами), ни в Раевке (там наш сельсовет). Разве что в Копыле – была милиция, райцентр все-таки. Но я не помню ничего – ни адреса, ни здания, ни вывески. Хоть отлично помню в том же Копыле – и забор, и дверь в здании суда. Там, где маму взять под стражу могли в зале...

Серпом по пальцам

Зажинки – это свята (праздник), примерно в июле. Праздновали начало уборки урожая. Украшали в хатке – красный угол, если он был. Иконы украшали тоже – если они были. Были-то 2 иконки – только в одной хатке на всю нашу Куцевщину. Украшали, кто чем мог, чаще всего «волошкой» – это василёк по-нашему. Почему волошка? Она всегда росла во ржи, а рожь (жито) – самой первой поспевает. Прежде пшеницы, ячменя, овса. Мама серпом колосья срезает, а я руками – волошку срываю. После венки плету. Жать рожь было легче всего, она же высокая, сгибаться не надо... Пшеница с овсом – гораздо ниже, но их всегда помалу сеяли. И надо было над ними гнуться – не слишком долго. А вот ячмень – и низок, и колюч, и сеяли его много! Вот где раком стоять надо, вот где спину наломаешь: «Маменька родимая, работа лошадиная!» Труд был тяжкий, а начинался он уже с 16 лет: «Постановление СНК СССР от 27.05.1939.» Парень или девка – это безразлично! Если 16 стукнет – на тебя особую норму определяют. Норму не выполнил – жди наказания. Не тюремный срок, так огромный штраф. А где гроши взять? Вот ещё причина, чтоб не кончить школу...

Все злаки мы жали серпами, никаких тракторов сроду я не видела – ни в уборочную страду (восень), ни в посевную пору (вясна), ни между ними (лета)! Серпы ковали в кузнице, она была колхозная, в Раевке она стояла. Серп у нас в хатке – был свой и точило – своё было. И нашим серпом – поранилась я, когда довелось самой мне жать рожь. Левою рукою – обхватила сноп, правой по нему – серпом резанула. И задела себя по мизинцу. До крови порезалась! Дожинки – тоже свята, только в конце августа. Урожай уже убрали – в этом и праздник. Украшали в хатках всё: столы – плодами, стены – цветами. Того и другого – уже было много...

От простуды до могилы

«Когда на весеннем рассвете,/ Над Родиной солнце встаёт,/ Вождю своему дорогому/ Привет посылает народ». Когда солнце вставало над Куцевщиной – от поздней весны до ранней осени – дети торопились на поплав прийти. Там из лета в лето – отбеливались и сушились домотканые полотна. Поплав – травянистая поляна у водоёма, будь то река или сажалка (воронка после снаряда, заполненная дождевой водой). Наши полотна мы несли в сухом виде к тому мосточку, что был по дороге в Смаличи. Или шли с ними к Рыловой сажалке, что была на пути в Лес-Трилетку. Сначала – в воде намочить, потом – на траве расстелить. Там же, на поляне, всег-

да паслись гуси, что лезли на полотно и какали на него. Надо было гусей гнать, иначе бы они испортили полотно. И что тогда поделаешь, во что тогда оденешься? Нового не сошьёшь – старое донашивай. А оно рваное, совсем не греет. От обычной простуды – не шибко далеко до пневмонии. Это верная смерть...

Ну вот, ткали, пряли, шили, вязали – все женщины делали своими руками. Когда шили штаны – сразу цвиклю вставляли! Это лоскуток в виде ромбика. Где промежность – там и цвикля. Промежность до дыр протирается быстро. Поэтому цвиклю (даже 2 штуки) нашивали на штаны сразу же. И не только штаны – всю одежду шили сами. Ничего же не было в магазине! Да и магазина – в Куцевщине не было. А туда, где он был – ну зачем нам идти, если грошей нема? На магазин надежды не больше, чем на колхозное правление: «Шла Федора из конторы,/ Трудоднѣм обижена:/ Юбка – рвана, кофта – драна,/ Голова – острижена!» Вот мы и гоняли чужих гусей, отбеливая своё полотно. Вечером полотна сворачивали и уносили домой, а утром снова приносили отбеливать. И так все лето: июнь, июль, август. Апрель и май, сентябрь и октябрь – толком не учились: жили в няньках, пасли стада. А с июня по август – толком не отдыхали: полотна сушили, гусей отгоняли. Отбеленное полотно – мы красили тоже сами. Опять же – краски не было, пользовались корой и соцветиями (шишками) ольхи. Получался цвет от светло-коричневого до темно-коричневого, вроде шоколадного. Хотя так говорить – не совсем верно! Шоколада в Куцевщине – отродясь не видели. Надевать домотканую обновку было не очень приятно – она кололась отчаянно. Зато такая «адзенне» (одежда) носилась очень долго...

Преступления и преступники

«Всегда на страже/ Колхозник-патриот!/ Налѣтчик вражий/ Его не проведѣт». Как ни следи за садом, в хатке сидеть вечно не будешь, на работу пойдѣшь. И вообще – хозяин-то всего один, а нас, детей, много и все мы есть хотим. Именно голод гнал нас в чужой сад! И любому хозяину это было понятно. Застав «преступников» на месте «преступления», каждый спешил нас выгнать, но никто не пытался нас догнать. Ещё «потерпевший» кричал: «Батьке вашему скажу!» Но почти никогда не говорил. И уж тем более – никто в Куцевщине не подавал заявление в милицию из-за украденной банки с вареньем! Такое случилось на Урале...

Самые ранние сливы росли у Александры, соседки Цыбулевых, «ссы-кухи» мы их звали. Цвет у них был бледно-жѣлтый, и они на вкус были не сладкие и не кислые. А может быть, мы просто не давали им дозреть?

И не только им! Думаю, почти все плоды в Куцевщине – съедались задолго до созревания. «Преступники» норовили опередить «потерпевших», а те – наоборот. Стало быть, и «преступники», и «потерпевшие» – на корню съедали сливу, не давая ей дозреть! И другие плоды тоже. В тот раз хлопцы рвали сливу, бегая по саду. А я сидела на заплоте (на заборе) высматривая хозяйку. Увидев её, я крикнула хлопцам: «Идёт!» Хлопцы кинулись из сада, а я слезть не могу – юбка зацепилась. Была она из батькиной гимнастёрки сшитая, крепкая очень, из чёртовой кожи. Я пыталась дёргаться – юбка не рвалась. Так я и повисла – вся попа голая, трусов-то не было на мне ещё. Трусы мне мама сшила позже, когда я в школу пошла...

И попало мне крапивой по голой попе! Уже не помню: как я освободилась? Но с забора слезла и вскоре нашла Колю. Его рубаша была в штаны заправлена, а за пазуху он клал сливы. То ли мало клал, то ли быстро ел? Но когда я нашла Колю, у него уже слив не было! И не только у него. Где сорвали – там сжевали. Так все хлопцы делали, ничего до дома никто не доносил. Коля мне рассказал: «Мы сперва все разбежались!» А потом их Исакова (или Ганина) позвала к себе на чердак. За трубою схоронились, а через маленькое окошечко выглядывали: идёт ли «потерпевшая» с пучком крапивы? В общем, хлопцы на чердак забрались невредимые, только я туда попала с обожжённой попой. Нет, «потерпевшая» нас не искала, мы в окошечко её так и не увидели. Хотя сидели долго – очень все мы напугались, часа два прятались там. Всего через день – снова мы «пошли на дело», снова целым коллективом: «Черну курочку кормила/ Черна курочка не ест./ Коллективная работа/ Никогда не надоест!»

Фашистский патефон

Через один огород от огорода нашей бабушки Прузыны (она же – Ефросинья) жили Адольщиковы. У них был сын Стась, ещё молодой – около 19 лет. Его на войне ранило, он стал хромать на одну ногу. И мы его звали «Кастусь Кривоногий». У них в саду росли клён и вишня. Весной Адольщиковы собирали кленовый сок, а мы ходили его воровать – пили его тайком. Сок-то был сладкий, а сахару нет – как же не пить? Стась бегал плохо, пытался догнать нас, но не мог, только угрожал поймать и поколотить. И поскольку он хромал, мы про него сочинили: «По военной дороге шёл Кастусь Кривоногий!» Мы ещё вишни, что свисали над улицей, срывали там же, у Адольщиковых...

И невесть откуда – у них был патефон. Трофейный? Нет, люди говорили, что патефон был не фронтовой, а тыловой. Когда немцы отступали, патефон с собой не взяли! Стало быть, не случись война – не было бы в Куцев-

щине никакой музыки? В общем, не было бы счастья, да несчастье помогло! Патефон имел сбоку ручку, не нуждался в электричестве, когда его заводили – голосил на всю деревню. Чаше прочих из него лились 2 песни. «На закате ходит парень/ Возле дома моего/ Поморгает мне глазами/ И не скажет ничего». Исполнял эту песню женский голос, по-моему, Клавдия Шульженко...

Орал патефон с раннего утра и до поздней ночи. То есть все мы, куцевские, и просыпались под него, и засыпали под него же. Под него – бежишь в школу, под него – спешишь назад. «Расцвела сирень-черёмуха в саду/ На моё несчастье, на мою беду./ Я в саду хожу, хожу./ На цветы гляжу, гляжу». Эту песню исполнял мужской голос. Не помню уж, чей он был? Возможно, была ещё песня: «По военной дороге/ Шёл в борьбе и тревоге/ Боевой 18-й год./ Были сборы недолги./ От Кубани и Волги/ Мы коней поднимали в поход». Иначе откуда взялась дразнилка, что мы пели про Кастюся...

Заявление для милиции?

Однажды хлопцы полезли за яблоками, потом увидели – идёт хозяйка. Одни «преступники» сразу сбежали, а кое-кто стал ругаться с «потерпевшей»: «Чаво ты вочи вытаращила як мавпа?» (Что ты глаза тарачишь, как будто обезьяна?) Она кричит: «Я матери твоей скажу!» Они в ответ: «Чаво ты там рагочешь?» То есть: шумишь, кричишь, покоя не даёшь. «Не рагочи больше!» «Да я вас всех!» «Да мы тебя!» Я вообще-то ни с кем не бранилась, только одной женщине – фигушек, как говорится, насовала. С чего началось? Она меня за что-то отругала, Маркова была её фамилия, за что ругала – уже не помню. Точно знаю: я была не виновата в тот раз, а она меня и обидела, и унизила...

На деревне как обычно? Семейство бедное – соседство вредное! Раз я победнее, а ты побогаче – так я для тебя всегда виноватый! Маркова меня носом ткнуть во что-то хотела, чего-то у ней на заборе висело, вещь эту порвали, и она решила – что я порвала. Как мы столкнулись с ней? Шла я через её межу, все мы так ходили, значит – мимо Ганиных шла я. А у них росло 2 яблоньки, сорт «белый налив», только у них одних на всю Куцевщину – был этот сорт. Может быть, ганинские яблоки откатились на марковскую землю. Там я их подняла, а она меня за это отчихвостила! Сначала я пыталась спорить, доказывая свою правоту. А только Маркова – опять за своё! Словно она – строгий учитель, а я – скверный ученик. Вот тогда я её назвала на «ты» да ещё фигушек ей насовала. После я малость испугалась и побежала домой быстро-быстро. Я боялась, что она меня догонит и отлупит...

Табак наш батька сажал каждый год, ради экономии он это делал. Ведь

курить самосад – куда дешевле, чем покупать махорку за деньги. Мне батка велел обламывать листья, не сделаешь этого вовремя – табак выйдет слабый: «Не крепкое курево, а дым бестолковый!» Обломанные мною листья, словно грибы, батка вешал сушить на чердаке, нанизав на нитку. Мы лазили за чужими яблоками – к нам лазили за нашим табаком! Стало быть, никому не обидно: «Эй, подружка, вместе спляшем/ Да друг дружке подпоём,/ Мы с тобой в колхозе нашем/ Замечательно живём!» Бывало, придя я листья обламывать, а там уже стебли истерзаны кем-то. Ведь забора не было – между нами и Рахелевыми, только жерди торчали. Через жердь перемахнул и пошел себе – рвать чужой табак! Самосад для курильщика – каравай для голодного, нашему батке это было ясно. Поймав «преступника» на месте «преступления», наш батка выгнал бы его, но вряд ли стал бы драться. И не подал бы заявление в милицию! А на Урале так и вышло. Одну женщину, 48 лет было ей, на 2 года посадили за 3 литра варенья...

Самим есть нечего, а ты гостей зовёшь

Говоря коротко: робить, чтобы еду добыть – было обязательно. А вот учиться, чтоб знания иметь – было не обязательно. И все же тяга к учению жила даже в стариках! Школу не кончил, а знаний хочется...

Жили-были в Куцевщине баба с дедом. Баба была простая сялянка (крестьянка). Робила в колхозе, возилась по хозяйству, крутилась в хатке. Корова твоя, молоко не твоё! Доишь её сам – молоко пьют другие. Кролики твои, мясо не твоё! Выкормил сам – отдай другим. Яблоня твоя, яблоки не твои! Соберёшь урожай – отдай государству. В общем, бабе за работой было вовсе не до знаний. А вот дед был грамотей, типа деда Шукаря из «Поднятой целины»: «Монополия» – кабак... «Адаптер» – пустяковый человек... «Акварель» – это хорошая девка... «Бордюр» – вовсе даже наоборот». Чуть ли не каждый день – дед узнавал новое слово и норовил его вернуть. Однажды баба сготовила гопу (блюдо из бульбы) и зовет деда: «Эй, старый, где ты? Пора вечерять...» А он в ответ: «Сегодня, старая, вечерять стану я – не абы как...» «А как же?» «А вот как: с большим аппетитом!» «Вот старый дурань!» «Это ты дура, учёных слов не понимаешь...» «Самим есть нечего, а ты гостей зовёшь!» «Каких ещё гостей?» «Сам же сказал: придёшь с каким-то Аппетитом...»

Короче, с голодом – так же, как с холодом! С одной стороны – никто на моей памяти не помер голодной смертью. С другой стороны – каждый имел такую возможность. Поэтому старуха осерчала, услышав про гостей...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Еда, точнее её нехватка – ещё одна причина, что мешала нашей учебе...

Хоть уроки не учил, специальность получил

Зина наша родилась в 1930-м, пошла в школу в 1937-м, а в 1941-м, закончив 4-й класс, получила начальное образование. После войны (1945) стала учиться дальше, но тут учеба не задалась. То скотину пасти зовут, то детей нянчить надо – иначе есть нечего будет! Зина начала робить, а учиться перестала. Так 7-летку она и не кончила, и поступать никуда не пыталась. Витя же был ровесник и приятель нашей Лены, он родился в 1932-м, в школу пошел в 1939-м, а в 1941-м закончил 2-й класс. В отличие от Лены, что кончила 7-летку, Витя к тому же времени (1950) остался при 2-х классах. Зато Лена медицинский техникум так и не смогла закончить, а Витя успешно закончил какую-то «махновку». Курсы трактористов, что ли? Помню, в руках у Вити – свидетельство на гербовой бумаге с печатью и номером. Или это были права на трактор? Не помню я, важно другое! Лена при 7 классах – диплом (то есть специальность) все-таки не получила. А Витя при 2 классах – специальность (то есть диплом) смог-таки получить. Уроки часто не учил, а специальность получил...

Коля наш родился 1935-м, в школу пошел в 1945-м. Учился не очень, 7 классов не кончил. Учеба Коле давалась туго, особенно плохо учил он стихи наизусть. Например, Вера Инбер, «Пять ночей и дней (На смерть Ленина)». Коля никак не мог запомнить, а я заучила с ходу, даже сейчас (2012) помню наизусть: «И прежде чем укрыть в могиле// Навеки от живых людей,// В Колонном зале положили// Его на пять ночей и дней...» Хотя учить эти стихи мне было ещё рано. Но мне что угодно – учить наизусть очень нравилось. Вот ещё стишок: «У Савосева суседа// Быв пярэ-сценый каток,// Выхаванец, спав ля дзеда,// Таки славны пястунок,// Нос – чарнявы, хвост – белявы,// Задзирасценыйки,// Кипчик – шыпчик,// Заграбасценыйки,// Вушки – слушки не мыляюцца,// Вочки в ночку – запалюцца...»

Колю я примерно в 5-м классе догнала (1950), мы учились вместе и сидели за одной партой. Он не только стихи учить – он и задачи решать не хотел! Однажды мама просит меня: «Проверь у Коли тетрадь!» Я посмотрела, а там не решены задачи. Я за него их все решила. А учитель узнал мой почерк: «Коле за решение – 5 баллов! А тебе за поведение – 2 балла. Больше никогда за него не делай». Почему Коля не переписал мое решение своим почерком? Не подумали мы об этом. В конце концов, Коля

вслед за Витей успешно закончил ту же «махновку», получив диплом (то есть специальность). Зачем ему 7-летка...

От картошки до картошки – запросто протянешь ножки!

С хлебом в школу? Никогда такого не было! Не только хлебных – никаких излишков еды не было, что сварили – тут же съели. Разве что в сентябре – яблоко с собой можно было взять. И сжевать его по дороге в школу. Уже в октябре – яблок не было, большую их часть – сдали на нормы, а меньшую часть – либо съели, либо засушили. Нет, варенья не варили – ни мы сами, ни соседи. Яблок было слишком мало, сахару не было вовсе. Про варенье на меду – мы даже не слыхали! Осенью засушим яблоки – на Рождество сварим из них компот, опять же без сахара, кипятком их зальем – вот и все...

Короче говоря, учебный год – длится 9 месяцев, а в школу с яблоком – бегаешь 1 месяц. В остальные 8 месяцев – дома надо есть. А что было дома? Мама готовила много чего из картопли: драники и гопу – из тёртой сырой картошки, комяки – из толчёной вареной картошки. Только 2 раза в год, на Рождество и Пасху, мама готовила мачанку. Это обжаренные кусочки мяса или косточки в бульоне из муки с луком, а то и с сушеными грибами – если они были. Зимой из квашеной капусты (тоже без картошки) варили суп, который называли «капуста». А солили мы на зиму – большую кадущку капусты и «агурков» (огурцов), все это вырастало на нашем огороде. Ранней весной, когда появлялся щавель, мама варила нам суп из него – без всякой картошки, очень кислая похлебка. Картошки к этому времени старой уже не было (всю мы съели), а новая – ещё не выросла. От картошки до картошки – запросто протянешь ножки...

«Когда Ленин помирал,/ Сталину наказывал:/ Чтобы хлеба не давал,/ Масла не показывал!» Голодно мы жили очень, и хлеба с маслом не было досыта никогда. Масло в масленке мы не хранили. Масляный шар с кулачек размером (словно головка сыра) замотан был в бумагу, так он и хранился на полке в хате. Не только масленки – вообще посуды не было почти, зачем нам посуда, если нет еды? Все время нам хотелось чего-нибудь вкусненького, и мы порой просили маму сварить сахарную свеклу, чтоб пить отвар – как будто чай. А ещё мы варили фасоль и бобы (когда они были) жарили на сковородке горох. Затем сыпали это в кульки из газеты и шли на улицу – гулять и жевать, воображая, что у нас в кульках – конфеты. Какие были газеты? Старье да рваньё. «Вперед по пути

к полному торжеству великого дела Ленина – Сталина!» Допустим, там были такие слова. Только прочесть их было нельзя. Серые обрывки с выцветшими фото и вытертыми буквами. Такими были наши газеты. Нет! Никого в Куцевщине за небрежность с газетой к суду не привлекали...

Нынче поршень не облизал, завтра Богу душу отдал

«С инвентарем в колхоз вступай – не прячь его, не продавай!» Ни спрятать, ни продать – нам было нечего. Инвентарь? Можно сказать, его вовсе не было! Не только в нашей хатке, а в целой Куцевщине. К примеру, сепаратор я увидела впервые только в 1962 году, если не позже. И не в Белоруссии, а в Башкирии. В Куцевщине же – только слышала: такая штука бывает (у западников, к примеру), что сама молоко в сыр сбивает. В 1988-м я побывала у западников – золото у них увидела, чего у нас с мужем тогда не водилось в доме. В общем, хоть 1988 год, хоть 1948 год взять – жили западники лучше нашего! Наш куцевской «сепаратор» – это железный цилиндр со стеклом во всю высоту. Его совали в колодезь – холод ускорял отделение сливок. По мере их отделения – сливки перекладывали из «сепаратора» в бойку (в маслобойку). Это кадушка из дерева, объем 4 литра, схвачена 3 обручами, сверху – крышка, сквозь нее входит поршень. Сливки в ней мало-помалу киснут и превращаются в сметану. Еще добавишь сливок – ещё сметаны прибавится. Раз в 2 недели – никак не чаще – бойка наша заполнялась доверху. После этого ей давали ещё постоять 1 ночь, потом кого-нибудь сажали сбивать масло. На лавке сиди да поршнем стучи...

«Наш Иван-болван молоко болтал, да не выболтал!» Это значит, что стучать надо долго. Часа 2 сидеть. Потом откроешь и вынешь масло – комок единый. Тут его надо подержать над бойкой – чтобы стекла маслянка. Это прозрачная жидкость, ее с картошкой съедали – как правило, тут же. Масло же частью ели, частью – несли на рынок, деньги-то были нужны всегда. Как раз на рынке одна еврейка пробовала мое масло ногтем. Найти охотника, чтобы сметану бить – было нетрудно. Ему, сбивальщику, позволяли облизать поршань (поршень) – одному, самому, более – никому! Строго по очереди били сметану – Зина, Лена, Коля, я. За очередью следила мама – и правильно делала. Не оближешь поршень 1 раз в 2 недели – где ещё сметаны отведаешь? Нынче поршень не облизал – завтра Богу душу отдал...

Бойку после этого мыли очень тщательно, чтобы маслянки в порах – ни капли не осталось. И сушили осторожно – чтобы бойка не рассохлась!

Не то нальешь в нее сливок – а они через щель утекут. Хранили масло в воде колодезной, шарики и бруски из масла – заливали водой, они в ней плавали спокойно, ведь масло с водой не смешается. Вода нагреется, зальем новую – зимой это ежедневно делали, а летом дважды в день. Масло подкрашивали мы морковным соком, ведь слишком белое – не купят на рынке. Брусок масла, подкрашенный морковным соком, клали в деревянную масленку – самодельную с деревянной же самодельной крышкой. Вот в таком виде – несли на рынок (рынок)...

Хоть голодом сидим – не все подряд едим!

«Мы счастливы все на твоих именинах,/ Собрав для Отчизны большой урожай./ И просим тебя, наш родной и любимый,/ На радостный праздник в колхоз приезжай!» Именины Сталина – не праздновали мы! Праздник для нас? Полкило сыра! Большую часть года (9 или 10 месяцев) сыра мы не ели. Только пока корова доится (2 или 3 месяца) мама его сделать могла. В общем, очень редко, потому я пропорций не помню почти. Вроде бы, на 1 килограмм творога уходит 7 литров молока? С 1 кило творога получается 1 кило сыра, кажется. Это самое молоко (около 3,5 литров) ставила мама в холоде (в сенках или чулане). Клала туда закваску (к примеру, кусочки хлеба), и через 12 часов (спасибо летней жаре) получалась простокваша. Объем ее уступал объему молока, она же гуще, уже можно было ее есть – с картошкой, например. Но простоквашу нарочно мы не готовили, она потому порой возникала, что не было у нас погреба своего. И появлялась она – не каждый день! Ну, вдруг выйдет так, что молоко постоит на солнце, тогда пить его – нельзя, а есть – можно. Когда оно станет простоквашей...

А можно было ее поставить на огонь, только не кипятить. Мешай и смотри – комки образуются, ты вынимай их – это же творог. А прозрачная жидкость – это сыворотка, готовый напиток. Творог мы ели безо всякой сметаны, лишь бы он был! Дальше? Творог мама завернет в чистую тряпицу и положит его на лаву в сенках. Да придавит камнем – нехай стечет жидкость, а сама масса пусть отвердеет. Отвердела она малость – массу в той же тряпице мама повесит на крюк у потолка, чтобы крысы не достали. Через 3 суток – мама пробуют резать эту самую массу. Если она режется как хлеб (ломтики твердые получаются) наш сыр готов! Сели и съели. Отродясь там полкило, не больше выходило. Считаю: 500 граммов на 6 ртов (2 взрослых, 4 детей). Выходит, около 80 грамм на 1 рот? Сейчас (2012) плавленый сырок 90 грамм весит, и его съедают за 1 раз...

Вот удивительно, хоть жили голодно, а все же имелись приметы-запреты: «Не ешь двойню-сливу или вишню-двойню – сама двойню родишь!» Ведь даже с 1 дитем – мороки много, а с 2 или 3 – и подумать страшно. «Морковку когда ешь, середку не грызи, не зря же она зовётся «ссыкун»! Если сжуёшь его – писять будешь часто, аж прямо замучаешься. «Никогда не ешь ягоды на кладбище»! Помрешь в тот же день...

Ни миски с едой, ни чашки с водой

Кот у нас в хатке жил, это точно, только ни кличку его, ни цвета не помню. И в хатку его не часто пускали: «Апсик отсюда! Псик, тебе говорят! Апсик!» Выходит, жил котька на дворе – зимой и летом: «Знай каток – свой куток!» Миска для еды, чашка для воды? Ничего подобного не было у котьки! Это не только у нас – в любой хатке Куцевщины. И ни разу не помню я, чтобы кусок ему кинули. Стало быть, котька еду воровал! И делал это очень искусно. Поймал бы его батька – убил бы котьку на месте. А задачка-то очень сложная – воровать еду там, где не готовят впрок. Сварили – сжевали, запасов нема! Словом, котька был героем. Выжить, а не сдохнуть, ежели не кормят – по-моему, подвиг...

Зачем котьку держали? Есть скотина – есть корма, а где корма – там крысы или мыши. Стоит доску поднять или дрова сдвинуть – мыши бегут вовсю. Это летом на улице, а зимой они по хатке прямо носились почти каждый день. Стало быть, котька нужен! Но я не помню ни разу, чтобы наш котька с мышью в зубах пришел. Вот нынешний кот (2012) мышей нам приносит! Хотя мы его кормим – в отличие от куцевского котьки. Может быть, с того и в хатку котьку не пускали, что он мышей не давил...

«От края до края, по горным вершинам,/ Где свой разговор самолеты ведут,/ О Сталине мудром, родном и любимом/ Прекрасную песню народы поют!» Если не считать войну – самолетов я не помню. Зато на чердаке в нашей хатке жили кожаны (летучие мыши). Нашу еду они не трогали – чего украдешь, если впрок не готовят? На корм для скота – кожаны тоже не зарились. Но как много шума от них было! Утром вылетают с чердака на волю – шорох и шелест десятков крыльев. Вечером летят назад – снова крыльями шумят. Мы пытались распугать их, для этого мы котьку совали на чердак. Тащили его по лестнице, что вела из сенок наверх. Люка на чердак не было, просто лежали доски в пазах. И лежали неплотно – тем сильнее мышей было слышно. Вот доску вынешь, котьку закинешь: «Лови кожанов!» И доску в пазы обратно

поставишь. А котька не ловил их, он спал там спокойно – на чердаке детей нету, за уши никто не тянет, за усы никто не дерет! Опять же – не помню я его с кожаном в зубах...

Батьке не попалась – так жива осталась!

Говорю о чердаке – партизаны снова вспомнились. Когда они пришли за форменкой – на чердак искать ее они не полезли. Почему? Видимо, отлично знали партизаны: форменка не запрятана под крышей, а закопана в земле. Опять же это доказывает: Гэлячка видела, как мама копала! И донесла партизанам об этом. Никто другой не мог подглядеть. А вообще на чердаке прятать было нечего. Разве что сидеть там, когда яблоки воровали? Да, прятались там, глядя в окошко. Смотрели: куда пошла Исакова, хозяйка краденых груш? Из хаты в окно смотреть – тебя самого заметят. А в то окошечко – ты-то глядишь, а тебя-то не видно...

Нет, налога за собаку мы не платили, это точно помню! Почему советская власть не брала с нас эти деньги? Ей-Богу, не знаю! Не брала, и, слава Богу. Имя нашей псинки – я сейчас не вспомню. Была она среднего размера и серого цвета, а охранять ей было почти нечего. «Для нас открыты солнечные дали,/ Горят огни победы над страной./ На радость нам живет товарищ Сталин./ Наш мудрый вождь, учитель дорогой!» А нам на радость – жила собака. Держали ее как живую игрушку – чтобы мы могли с нею вошкаться. Позже Шурик (первенец нашей Зины) руку нашей псинке засовывал в пасть – до самого плеча. Он и чужим собакам так засовывал – они его не кусали, любили они Шурика...

Ни миски для еды, ни чашки для воды – не было у псинки нашей. Ошейник, будка, цепь? Тоже не было. На богатых дворах (1 или 2 на всю Куцевщину) будки я видела: «Да, была когда-то – и у сабаки хата!» И не помню, чтобы псинку мы кормили хоть бы раз. Видимо, что выбросим, то она и подберет, наши отбросы – ее кормежка. Помню, куры наши клевали собственные какашки – так есть хотели, бедолаги. Однажды наша псинка сорвала у меня варежку с руки и в снегу ее закопала. А может быть, в кашу ее изжевала? Псинка была – игрушкой для двора, а куры – игрушками для хатки. Думаю, не только варежки – еду тоже воровала! И неплохо справлялась – батьке не попадалась. Хотя псинке было хуже, чем котьке! Его хоть изредка – пускали в хатку. Собаку даже на порог – не пускали никогда. Короче, псина была геройская. Уцелеть, а не подохнуть, ежели совсем не кормят – ведь это подвиг...

Кладовщик блины печет, председатель водку пьет

«Мой Сталин любимый учитель и друг, к тебе миллионы протянуты рук!» Не считая выборов, руки не тянули. А вот ноги протянуть – это мог любой из нас! Жили все мы голодно, еды вечно не хватало, и все же порой угощали друг друга! Цыбулева к нам явится – мама ее картошкой угостит, мы с мамой придем к Катюше – она нас молоком напоит. Вообще же угощать – принято не было! Чем угощать, когда самим есть нечего? Короче, угостишь – будут рады, а нет – обиду не затаят. Батька наш робил на конюшне, а там коней, случалось, выкладывали, то есть кастрировали. Батька принесет яйца конские, мы их тут же скушаем, голодным – все вкусно! А сейчас вот (2012) я на них, может быть, глядеть бы не стала. В домике Цыбулевых, где Катюша нас молоком поила, всегда было холодно. Не хатка у них была, а глинобитная хижина, кажется. То ли домик саманный, то ли что-то похожее. Кстати, так же холодно – у Борисовых было в хатке. Так вот, в домик Цыбулевых едва войдешь – ведро стоит прямо под ногами. Нарочно они бросили? Нет, просто, где они кинули – там оно и стоит. Обошел ведро, идешь дальше – там целая куча мусора навалена. Вся хатка – вверх дном...

Вот не помню я, чтоб их наказали за то, что в колхозе они не робили! Формально – закон был один для всех. Норму по трудодням не отработал – тебя начальство под суд отдаст. За решетку попадешь! Что ж, видно, Цыбулевы умели с начальством сговориться: «Кладовщик блины печет,/ Счетовод подмазывает,/ Председатель водку пьет,/ Бригадир не сказывает...»

Серые – ещё одна семья, где меня угостили однажды. Мы ели за столом – картошку с молоком. Ну, бульба як бульба, а вот молоко! Оно было кислое – это раз. У нас в хатке – кислого молока отродясь не водилось. Не успевало оно скисать! Все молоко наше – уходило в гос. поставку или в пищу нам. А вот у Серых – имелось кислое молоко. Роскошь по Куцевским понятиям, все равно, что пол деревянный. И пили мы это молоко из чашек, что меня поразили! Они были металлические и вдобавок эмалированные. У нас-то в хатке вся посуда была – алюминиевая в лучшем случае. А то и самодельная – из стеклянных бутылок! А тут эмаль на металле, темно-зеленые и светло-зеленые узоры. Думаю: «Надо маме рассказать про чашки!» Сказала я маме, а мама в ответ: «Пойдем в сельпо, авось там купим». Пришли и глядим – таких чашек нема! А были бы они – у нас же нема грошей. Мама ещё сказала: «Видно, им те чашки – кто-то привез. С Минску или с Москвы...»

В потолок глядят – так грибы едят!

«Наш Сталин – ты первый из первых в труде и борьбе, все лучшие чувства приносим тебе!» А все худшие грибы – доставались бабе Зосе. У нее вечно болели ноги, она еле хромала даже от хатки до хатки. Летом все спешили «хадзіць у грибы» (ходить по грибы), а баба Зося бродила по хаткам, собирая порченные грибы. Совсем старые и даже червивые: козяк – подберезовик, хрущи – грузди, красноголовик – подосиновик. Все лето сушила, всю зиму варила. Над ней смеются, она бормочет: «Почакайтэ, трясца вашей матери! Як я зимой зварю из гэтых грибов мачанку, то будзете есть. Аж за ушами трещать будзе у вас». Короче, на шутки она не сердилась. Не сготовь она те грибы – протянула бы ноги с голоду! Один раз у бабы Зоси я пробовала ту самую мачанку. И, правда ведь, я червяков не увидела: «Как грибы едят? В потолок глядят...»

Вяселле – не радзина, свадьба – не именины. Именины не справляли, свадьбы же играли часто. Но гости были – только взрослые, детей не звали никогда и не пустили бы туда. Почему? Да все дети были вечно голодны! И пускать к столу – их нельзя совсем. Вдобавок дети по незнанию могли отведать самогонки! Вечно голодными были и взрослые, но они-то себя в руках держать могли! И шли на свадьбу, неся еду свою в своей посуде. Там поедят что-то, назад несут свою посуду с кусками для детей. А те уже – ждут не дождутся, за ворота выбегают, из окна торчат, за забор тянутся...

Вот жених и невеста – у ворот жениха. Она входит на двор, там ее встречают его родители. Осыпают ее зерном, а вот землей осыпать могут – если зерно подменит кто-то! Такое порой бывало. То ли просто из озорства, то ли – ради плохой приметы? Земля – ведь это могила, землей осыпать – смерть зазывать! Ну, после зерна – подносят хлеб-соль, не позволяя трогать руками. Нужно кусать прямо из рук родителей жениха – краюху, присыпанную солью. Потом невесту вводят в дом жениха, вносят туда ее приданое, там его смотрят. Точно помню цифру – 7 одеял должно быть по обычаю, а ещё подушки и простыни. ЗАГС? Такого органа не было, регистрировались в сельсовете, что был в Раевке...

И нынче бывает, что бык убивает

«Мама, а карова наша отелилась?» То есть – доишь ли корову, пьете ли молоко? «Мама, а ты аладки пячешь?» То есть – есть ли мука, чтоб оладьи печь? «Мама, а сабака наша оценилась?» То есть – сыто ли живете, хватает собаке объедков? Вся Куцевщина слушала эти письма из армии! Писал

их Володя, сын Алексеевых, наших соседей. Был Володя очень рыжий, такой рыжий, что по имени его никто не звал, звали просто «Рыжий». Видимо, в армии он скучал очень. И никак забыть не мог: голодно живут его близкие...

Придя из армии, Рыжий женился на западнице, привёл девушку из бедной семьи. Была она подслеповата. Стали работать вместе – это Саша и мама наша. Вообще-то Рыжие (Алексеевы) – были очень вредные, но эта Саша – оказалась гораздо смиренней. Однажды во время дойки она перепутала быка с коровой: «Будет стадо с радостью доиться./ И польются реки молока./ Если, как в народе говорится,/ Взять быка в работе за рога!» Саша взяла быка совсем не за рога. Она принесла ведро, наполовину полное молока. Поставила его на землю и дернула быка за мошонку. Ей же казалось, что это вымя! Конечно, бык начал брыкаться, он опрокинул ведро и разлил все молоко. Саша упала прямо в лужу. Быка звали Витек, дело было при всех, бык-то ведь колхозный. И Саше этого Витека – всю жизнь поминали. Может ли бык забодать насмерть? Сейчас вот (2012) быки сыты, и то бывает, что хозяйку бык убивает. А в то голодное время – тем более мог убить, пожалуй...

Одно время эти Алексеевы (Рыжие) враждовали с нашей мамой. А из-за чего была вражда – ей-Богу не знаю! Может быть, все началось ещё при родителях. Когда дедушка Василий был ещё в живых, а бабушка Прузына была ещё в уме? Возможно, случился какой-то пустяк, о нем сто раз забыли, а вот вражда осталась. Но в День Победы (май 1945 года) все со всеми обнимались! Вроде бы после этого (Рыжие) Алексеевы перестали враждовать с нашей мамой...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Классы – там наши второгодники занимались не только учебной...

Откуда новые ботинки?

«У карт и у досок мы станем,/ Вбежим мы в сверкающий зал./ Мы учимся так, чтобы Сталин/ «Отлично, ребята!» сказал». На дворе стоял август, приближался сентябрь, нашей маме надо было собирать 4-х детей в школу. А одеть и обуть нас было не во что. До зимы, то есть до Покрова (14 октября), когда выпадал снег, все куцевские бегали в школу босиком. Как же выходило, что не простужались? Кто мог простудиться – тот помер до школы. На селе – хворых нет, на селе есть живые и мертвые! К слову, за

9 лет (1930-1939) мама наша могла 12 детей родить. Ведь контрацепции в помине не было! Может быть, она так и родила, аж 12 душ? Просто 8 померли, а 4 выжили? Помню, каким отвислым был мамин живот – даже в 1945-м...

В 1-й раз в 1-й класс все идут в сентябре, но записаться надо заранее – в августе месяце. Записываться мы отправились с подружкой. Меня записали так: фамилия – Кныш, имя – Ольга, отчество – Николаевна. А Зина записалась: фамилия – Кныш, имя – Зина, отчество – Исаковна. В тот же вечер батька Зины спросил: «В школу хадзила?» «Хадзила!» «А як записалась?» «Записалась як усе! Кныш Зина Исаковна». Батька Зины рассердился: дескать, все не так. Наутро явился в школу и там потребовал: «Запишите мою дочь заново! Фамилия – Исакова, имя – Ундина, отчество – Михайловна...»

1-го сентября открылись двери куцевской начальной школы. Все пошли в школу: и Зина, и Лена, и Коля. И мне одной не хотелось оставаться в хатке. Вот так я, 6 лет отроду, тоже пошла в школу. Мама попросила разрешения, и учительница позволила мне ходить. Мама-то думала: «До снега побегаает, выпадет снег – перестанет!» Так и вышло – снег выпал, и мама меня не пустила. Вера Константиновна из Богоровщины пришла к нам домой в Куцевщину: «Почему Оля не ходит?» Мама в ответ: «Обувки нет!» И Вера Константиновна купила мне ботиночки, отдав свои деньги. Так я пошла учиться дальше! Но Вера Константиновна была уже 2-й моей учительницей. А самой 1-й оказалась Надежда Васильевна Гарбуз. Жаль, она быстро от нас уехала, чуть ли не в том же сентябре 1945-го. Замуж вышла, что ли...

По 6 месяцев – с голой задницей

Обувала я ботиночки, когда бегала в 1-й класс, а вот что я надевала? Одну обновку я помню точно – трусы мне мама сшила! Ведь 6 лет (1939-1945) от рождения до школы – не носила я никаких трусов. «Если б нам теперь, ребята, в гости Сталина позвать, чтобы Сталину родному все богатство показать!» Может быть, богатство было, а трусов на мне – точно не было. И не только я – дети в Куцевщине трусов не носили: «Все мы, черти, одной шерсти...»

Простой пример! На 1-м из 2-х наших перекрестков стояла хатка Пантелеевых. У них была Валя – девочка моих лет. Однажды мы с нею играли в их саду. И тут обоим захотелось писать. Ну, мы сели на траву друг против друга, и дружно начали журчать. Глянув на Валю, я очень

сильно удивилась: у нее была мальчишеская пискля! Я страшно поразилась, а Валя – не смутилась. Мне не терпелось узнать: почему так бывает? В тот же вечер я об этом стала спрашивать у мамы. Но только она не смогла ответить на мой вопрос. Может быть, потому Валу и назвали Валею? Имя-то подходит что мальчику, что девочке: Валентин, Валентина. Или Валя была мальчиком? А платье надели на нее родители! Чтобы не взяли в армию, где погибнуть можно – даже без войны...

Словом, дети в Куцевщине трусов не носили! По крайней мере – до школы точно. Ну да, климат у нас теплый, бегали мы без трусов, но не болели, не простывали. Трусы были словно обувь – мы таскали их полгода, от Покрова до Пасхи. И снять мы спешили трусы, словно обувь, чтоб впрок поберечь и то, и другое! Ведь с обувью как? На южной стороне улицы (где бабушкин двор) – снег уже сошел, все босые бегают. А на северной стороне (где наш падворак) – снег ещё лежит, мы в обуви ходим. Трусы у хлопцев? Не знаю, были или нет! Хлопцы же носили штаны, им теплее было, даже без трусов...

Утонет братишка – получишь штанишки!

«Цветет красотой небывалой/ Народного счастья весна,/ Всемирной надеждою стала/ Советская наша страна!» Может быть, была надежда, а вот одежды – не было часто. Трусы мне мама сшила только перед самой школой, в августе 1945-го. Были они белого цвета, не больше 2 пар, одни я сняла – другие надела. Ткань покупать приходилось, наш самотканый лён – не годился для трусов, они вышли бы «кусачие». Каждый Великдзень (Пасха) я просила платьице новое, но не всегда его получала. Мама убеждала меня: «Ты же видишь, как плохо мы живем! Вот Зина поносит платье, Лена его поносит, тебе потом отдадим. Заглянет солнце и в наше оконце». Только их трусы – донашивать не приходилось, а все другое – донашивала, и не я одна! Обновок ждали годами, разве что старший братка утопнет в речке – тогда младшему братке штаны перейдут. Бывает, почти не ношенные...

Зимой мы в школу ходили в штанах и юбках. На ногах – самошитые бурки или самошитые валенки. Иногда с калошами покупными. На теле – трусы белые самошитые, на них – штаны тёплые самошитые. Штаны эти ладили из «чертовой кожи». Это ткань черная, с одной стороны она была лохматенькая, а с другой – гладенькая, похожая на джинсу. Была она очень прочная. До белого протрется, а все равно не рвётся...

Поверх штанов – юбка защитного цвета, тоже самошита. Юбка на

лямках с пуговицами, у некоторых – на резинке, но не у всех. Юбка обычно была с 2 кармашками. Выше юбки – блузка и кофта, ещё выше – платок, в магазине купленный. Вот легкие косынки для лета мы шили сами, а теплые платки на зиму – покупали. Моя косынка, которую наш батька привез и которую наши куры закакали – это была редкость. Повторю: кроме калош и платка – вся одежда наша была самошитая и самодельная. Даже зимний платок – у кого шерсть была, тот его сам вязал, а не покупал. Groшей-то немає...

Детство счастливое, школа студеная

Верхнюю одежду (жакетку) мне мама ладила из сукна, это было что-то типа полупальто. Сшил его дядька Антось из нашей материи, он нам вообще все шил. Был он старше мамы лет на 20, денег с мамы он не брал. Может быть, она ему ткала что-нибудь взамен? За тканью шли в Клецк – с деньгами, а не с яйцами! Мое пальто было серого, почти черного цвета. А ворот был из кролика, кролик был своим – денег нам не стоил. Пуговицы были круглые и черные, каждая с 4 дырками – чтобы сидела прочно...

На голове – был платок, какой именно – не помню. Хоть не из пуха, а из ткани, но купленный в магазине. Может быть, в том же Клецке? Именно платок, а не шапка, шапка у меня появилась только на Урале (после 1952 года). На ногах – бурки, что сшил дядька Антось из тряпок. Не надо путать их с покупными бурками – кожаными, на каблучках, парадно-выходными! «Тая же зязюля, але не так кукуе (Хоть птица – прежняя, да песня – новая)». Бурки из тряпья – чем они хуже кожаных бурок и настоящих сапог? Да ведь рвутся от одного небрежного касания о любую твердую поверхность. На руках – варежки с 1 пальцем, мамой опять же вязанные. Вережку через петлю для гвоздя не пропускали, совали варежки просто в карманы. С того наша сабака и утащила мою варежку, что та была не на веревке. Все верно, собаку почти не кормили! И не то странно, что варежку она стащила, а то странно – что кота не порешила. Не ради забавы – а из-за голода. Видно, наш котя был не дурак! Еду воровал – батьке не попался, двором пробегал – собаке не дался...

«Мы дети заводов и пашен/ И наша дорога ясна./ За детство счастливое наше/ Спасибо, Родная Страна!» Детство было счастливое – школа была студеная. Как сидела я на уроках? Платок скину на плечи, варежки в карманы суну, пальто – едва расстегну. На ногах – бурки из тряпок, и ногам вечно холодно...

Мама захлебнуться могла!

Дядьку Антося вспомнила – надо про обоих Байкашей сказать! Жили у нас в соседях братья: Иван и Антось. Оба были портные, но по-разному шили: Иван для своих, Антось для чужих. Вся семья Антося хорошо относилась к нам. Дядька Антось всегда шил нам бурки и вечно переделывал старую одежду – со старших на младших...

«Прибаутки, поговорки/ Сыплются кругом./ На «четверки» и «пятерки»/ Пляшем и поем!» Бывало, иду из школы, он спросит про оценки. Я в ответ: «Пятерки!» А он мне: «Пятерки? Плохо ты, Воля, учишься! Даже ни одного «кола» не получила. Чем же батька огород будет городить?» А ещё дядька Антось дразнил меня доброжелательно. Если меня обижали, я выбегала из хатки под липку, что росла у нас во дворе, и там я очень громко плакала. Услышав мой плач, откуда ни возьмись, на соседнем дворе появлялся дядька Антось. Он поплясывал и приговаривал: «Ах, какая музыка играэ! Тра-та-та да тра-та-та! Ах, какая музыка!» И я плакать прекращала, могла даже засмеяться. Вот так дядька Антось отучил меня плакать под липкой...

Кроме липки, был ещё на дворе у нас колодезь. Вообще, в Куцевщине – колодцы были не у всех, не в каждом дворе имелся свой колодец. Да, из нашего колодца – прежде брали воду, только не на моей памяти – ещё в 1930-х годах. А в 1940-х – что-то с колодцем нашим случилось. Может быть, батька за ним не глядел? Вода куда-то стала уходить, а сам колодец – начал засыхать и засыпаться песком и мусором. К началу 1950-х, когда мы уезжали из Куцевщины, от нашего колодца не осталось и следа. Где же мы воду брали? Опять-таки, у дядьки Антося, он нам разрешал пользоваться своим колодцем. И в том же колодце – батька искал маму по пьяному делу. А если бы наоборот – столкнул бы он ее туда? Мама же могла захлебнуться. Батька ведь был непредсказуемый...

Убивать – ни к чему

Жила-была в Куцевщине семья Янковых. Хатка их была против нашей школы – прямо через дорогу. У Янковых росло много детей и почти все – хлопцы. И было два больных подростка – Витя и Оля. Обычно их, умственно отсталых, закрывали в хатке. Погулять же иногда – выпускали в сад, там они бегали нагишом. Почему нагишом? Здоровых детишек одеть да обуть – морока сплошная! Думать о больных – вовсе некогда. «Ты куда собрался – из-под рыжей кобылы яйца красть?» Рыжей кобылы у Янковых не было, зато росло множество яблонь. Частенько на переме-

не – бегали мы в их сад, чтоб воровать яблоки. Мы ни разу не попались хозяевам! Больше того, дразнили Олю с Витей. Бывало так: бежим вдоль забора, мы – по улице, они – по огороду. И мы голосим: «Витя, Оля! Оля, Витя! Витя, Оля!..»

На входе во двор у Янковых росло высокое дерево, куда прилетали аисты. Прилетали буслы летом, а ближе к осени – по утрам они стучали клювами и будили всю деревню. Ведь наша Куцевщина (около 60 дворов) была настолько мала, что стук разносился до самой околицы. Это был очень приятный пробуждающий звук. Говорили, что буслы «мацуют», то есть проверяют на прочность свои яйца. Днём буслы спешили на поиски пищи. Ходит бусел по болоту, ищет сам себе работу. А к вечеру возвращались с добычей – «жаба» (лягушка) или «рапуха» (жаба). Осенью буслы от нас улетали, а вот их птенцов я не видела ни разу...

«Если над землей клубятся тучи – птицы набирают высоту. Если им грозит в дороге гибель – птицы умирают на лету!» Как ни голодно мы жили, никто из наших – на бусла не поднял руку! Казалось бы, добыча верная: и мясное блюдо (пара крупных птиц), и десерт вдобавок (десять их яиц). С другой стороны, какая добыча? Нынче ты – пристукнешь птицу, а завтра сосед на тебя настучит. В тюрьму посадят за браконьерство! Якая же корысть – ту птицу убивать...

И обписалась, и обкакалась

Школа наша куцевская была одноэтажная и деревянная. В длину – 5 окошек, в ширину – 2 окошка. Внутри было всего 3 помещения. Класс для занятий – очень просторный. Особая кладовка для классных журналов – не очень большая. И ещё одно было помещенье – то ли большой шкаф, то ли маленький чулан. «Часть речи/ Упала с печи,/ Ударилась об пол,/ Называется – глагол!» Верно, печка в школе была, а вот туалета не было. Ни клозета с унитазом, ни сортира с дыркой – бегали до дому...

Однажды к нам прислали новую учительницу, вовсе маленькую, ростом как школьница. Фамилия, имя, отчество? Совсем не помню. Мы прозвали ее Мышкой. А среди наших учеников было полным-полно второгодников, любому – уже жениться пора. Каждому было лет 15-16, и каждый перерос Мышку на целую голову. Они что придумали: поймали ее и закрыли в шкафу для наглядных пособий. Да, в этот шкаф она поместилась впритык! Второгодники заперли дверь на замок и умчались поскорее. Где взяли ключ? Торчал в двери! Или там снаружи была щеколда, которую Мышка изнутри никак не открыла бы? Не важно! Важно, что простояла она там

– пока школьный сторож не пришел, до самых сумерек. Долго очень стояла! И наплакалась, и описалась, и обкакалась – все могло быть. Еще хуже вышло бы, кабы ее заперли – не на неделе, а перед воскресеньем. Могла сознание потерять от духоты! Тот шкаф был тесный, как бокс тюремный. «Бокс – значит по-английски ящик. Они цинично называют такую каморку ящиком? Что ж, это, пожалуй, точно». Стоять в шкафу можно было, а вот сесть – даже Мышка не смогла. После этого случая – она уехала сразу...

Второгодники наши и не такое могли! Ухватят девчонку, какая постарше, опрокинут на парту, задерут юбку выше головы. И чесноком ей письку натрут. Помню, как пацаны валят жертву на стол. Помню, как громко кричит девчонка. От страха, от неожиданности, от боли. Ужас! Потом, наверное, кто-то сказал учителям и все это прекратилось...

Парася мурзатый

В школу заходишь – стоят дежурные. Нет, красных повязок у них не помню. Прежде всего, смотрят на руки и уши: чисто ли там? Голову тоже могли проверить: гниды есть или нету? Но вот голову – не всегда смотрели. Видимо, начнется очередная кампания – выйдет приказ о проверке на педикулёз – вот тогда ищут гнид! А руки и уши – смотрели всегда. Вот пришел ученик – неумытый как поросенок, с пятнами на лице. Ему на пороге дежурные скажут: «Иди домой, парася мурзатый!» Он идет домой и там умывается. Никто с дежурными не спорил! Хотя дежурили всего лишь – ученики, учителя рядом с ними я не помню. От грязи не треснешь, от чистоты не воскреснешь? Не совсем верно. Если грязь на коже – то беда возможна. Бегают же все как бешеные! И малой царапины хватит, чтоб грязь попала в кровь. А там заражение – и уснешь, как Ильич: «И пять ночей в Москве не спали/ Из-за того, что он уснул./ И был торжественно-печален/ Луны почетный караул...»

Не было отродясь – готовых школьных тетрадей! Мы их сами делали, сшивая нитками нарезанные из бумажных мешков листочки. Мешки мы где брали? Мешки те самые были, в которых американцы нам квасолу бросали! Фасоль сразу съедали – мешки впрок сберегали. Учебников тоже у нас почти не было. На всю Куцевщину – помню 2 книги: «Букварь» (Букварь) и «Роднае слова» (Родное слово). Не было ручек и перьев. Драли перья из гусей – у кого были гуси, а были они только у богатых сельчан...

Ученический билет? Сроду не было! Ни в начальной школе (1945-1949), ни в средней школе (1949-1956). И даже позже: курсы медсестер, медицинское училище, энергетический техникум – не было «студиков». И потому льгот не бывало – что на автобус, что на поезд...

Гляди не утопись!

«Школьные годы чудесные с дружбою, с книгою, с песнею!» Ага, вот только без чернил – не было их в готовом виде! Мы делали чернила из свеклы и сажки. Брали терку, терли свеклу, потом выжимали. Разбавляли этот сок водичкой. Не было и чернилниц тоже. Самодельные чернила дома мы сливали в стеклянные пузырьки, и шли в школу с этими чернилками. Для них на партах были углубления, а для перьев – желобки. Бывало, один ученик к другому сунулся, парту локтем толкнул, вот тебе и клякса. Такая досада, если поставишь чернилку неловко, а она зальет тетрадку! То у тебя, то у меня – случалось это чуть ли не каждый день. А если зальет не только тетрадь? Парту надо отмывать, полы надо оттирать! Вода не поможет. Мне помнится, спичками мы оттирали чернила. Зажав 2-3 спички в пальцах, возишь ими по пятну. И мало-помалу оно теряет цвет...

С 1-го по 4-й класс нас учила Каленчиц Вера Константиновна. Та самая, что мне ботиночки купила! Она рассадила нас так: на одном ряду – 1-й и 3-й классы, а на другом – 2-й и 4-й сидят. Всего 30 человек, помнится. Я сидела с Зиной на одном ряду. Было много детей-переростков, например, Витя (сын тети Нади) что в 13 лет учился во 2-м классе. Хуже всех учеба давалась Коле и Зине. Зина в 15 лет, в 1945-м году, пошла в 4-й класс, а 7-летку так и не кончила...

Я была прямо-таки влюблена в свою учительницу. Когда на выходной она уходила домой, я ее провожала от школы до Леса-Трилетки. Это полтора километра в один конец. Помню все ещё некоторые стихи, что мы учили в начальной школе: «Не сядицца у хатце хлопчыку малому,/ Клича яго рэчка, цягнуць санки з дому./ «Мамачка галубка, – прасиць сын так мила:/ Хоць бы ты на рэчку пагуляць пусцила?»/ «Ну, идзи, сыночак, скоранько вярнися,/ Ды глядзи у рэчцы ты не утопися». Вот так вот! Сына я родила только в 30 лет – в 1969-м. А бояться за него начала уже в 6 лет – в 1945-м...

Лежит в гробу, а щеки розовые

В школе куцевской только одну я помню елку – в декабре 1945-го. Все украшения мы сами делали, из промокашек цветных вырезали. Фонарики какие-то и ещё снежинки. Колхоз дал муки, а стряпухи налепили коржей – типа круглых пряников. Не сладкие, но вкусные! Коржи сначала развесили на елке, а потом их отстригали и давали нам. Мы их не просто ели – мы хватали их буквально. Я свой в школе есть не стала, принесла его домой. Помню, аккуратно перед елкой – у меня жар был страшный! Должно быть,

температура поднялась высоко. Точно сказать не могу – ведь ближайший градусник в Раевке был! Мама хорошенько меня закутала: «Ад цяплосьци не баляць косьци!» (Жар костей не ломит!) Затем – на саночках до школы довезла, потом – назад доставила. Помню, высадила она меня из санок. Уже после елки, у нас на дворе: «Беги в хатку!» Я лоб свой потрогала – он весь мокрый был. А мороз стоял лютый! И, тем не менее, – мама меня не стала держать, пустила на ёлку. Мама всегда со мной соглашалась. А я бы простыла – чего б тогда было? Пневмония...

От простуд и осложнений умирали очень часто. В Малой Раевке жила двоюродная сестра моей мамы. Её дочь звали Марыйка, родилась она примерно в 1930 году. А примерно в 1948-м – умерла от туберкулеза. Помню, лежит в гробу – а щеки розовые! Мама моя плакала и без конца повторяла: «Такая молодая, жить да жить ещё!» Похоронили Марыйку там же, на могилках в Малой Раевке. Это было летом...

То есть – это будет летом, а пока на дворе – зима, декабрь 1945-го. Несмотря на жар, я участвовала в концерте. Прочла там стихок, не помню какой. А вот мою подружку Валю взяли в театральную постановку. Комиксы, что ли их сейчас (2012) называют? Трое ребят встали под дугой, что была украшена какой-то ленточкой. Были ещё какие-то вожжи, Валя на что-то села, в руках у неё было что-то ещё: «Запрягу я тройку борзых,/ Тёмно-карих лошадей,/ Да помчусь я в ночь морозну,/ Прямо к Любушке своей!» Я очень завидовала Вале: «Ну почему у меня стихок только, а ее аж в постановку взяли?..»

Кому смерть не грозит?

Ирена Смолич (ударение на «о») – высокая и полная была, раза в полтора выше и полней меня. Вообще выглядела Рэня – крупнее всех наших. Жила она в Богоровщине, а училась в Куцевщине – в нашей школе. Одевалась Рэня всегда лучше всех нас. У нас – обноски, на ней – обновки. Особенно тщательно Рэня была одета по праздникам – на Рождество и Пасху. Думаю, Рэня была одна на всю школу, кому не грозила смерть – ни от холода, ни от голода! Болтали, что Рэня – католичка и полячка, как и ее родители. Никаких хлопот из-за церковных праздников – никогда у Рэни в школе не было! Какие там хлопоты? Гнать из октябрят, не брать в пионеры? «Вот на груди алый галстук расцвел, юность бушует как внешние воды!» Да не было в нашей школе ни октябрят, ни пионеров. Ни одной 5-конечной звездочки, ни одного 3-угольного галстука! Ничего такого в нашей школе не было...

Однажды Рэня позвала меня в гости. Кажется, дело было на Пасху. Помню, я шла босиком, почти без верхней одежды. Их двор и дом – мне показались очень роскошными! У нас калитки в заборе не было – у них была. Наши ворота были старые, они не привлекали внимания. У них ворота были новые, и свежее дерево бросалось в глаза. Наша хатка стояла прямо на земле, их дом имел каменный фундамент. У нас вместо крыльца – лежали 3 доски, потом сразу – порог, а сверху – ничего. У них крыльцо было настоящее – сначала 3 ступеньки, потом ещё – площадка, а сверху – навес. У нас пол – земляной, что метут веником. У них пол – дощатый, что моют тряпкой...

Когда мы пришли, взрослых не было. Рэня меня пастилой угостила – господи, как вкусно было! Я ведь до этого даже сахара ни разу досыта не ела. А тут пастила! Потом мы простились, и Рэня меня до межи проводила, что у них была вытоптана, словно дорожка. С этой межи, что шла между 2-мя огородами, начиналась тропинка, которая вела из Богоровщины в Куцевщину. Стало быть, кто ни идет – топчет твой огород. Да ещё норovit поживиться. Если «семачки» (подсолнух) увидит, то башку ему свернет: «Что девка в доме, что горох в поле – кто ни пройдет, всяк ущипнет...»

Наталья Филимонова

МНОГОЛИКОСТЬ

Я видела надежду многоликой:
Красивой, нежной, а иной раз – дикой,
В нарядном платье, с розами в руках,
Когда – босой, когда – на каблуках,

При фонарях, закатах и рассветах,
В случайных фотографиях, портретах,
В прощальном вздохе, первом поцелуе,
Когда она молчит или ревнует,

В пустыне видела, среди барханов,
На лицах европейских донжуанов,
И в серых водах Северного моря,
И в искрах счастья, и в морщинах горя.

ПЕСЧИНКИ

Я совсем запуталась в словах,
Как руками в длинных рукавах.
В городе промозглых вечеров
Собираю жизнь свою из слов.

Все спешат куда-то, – а куда?
Люди, самолёты, поезда.
Шлепая по мокрой мостовой,
Осень притворяется весной.

Сердце недоступно – карантин.
Мысли, что прозрачней паутин,

Затаились в промежутке строф,
Как песчинки под стеклом часов.

* * *

Так и будем встречаться врозь:
Ты – здесь, я – там.
Прикасаются друг к другу вскользь,
Разъезжаться по городам.

Так и будем: ты – вверх, я – вниз...
В самолётах, такси, метро...
Было время, когда рвались
Мы друг к другу. Сейчас – не то.

Так и будем читать свою жизнь,
Обнимать, целовать между строк...
Словно створки мостов развелись:
Я – на запад, а ты – на восток.

* * *

Другая работа, другие друзья,
Другие соседи – так больше нельзя!
Другие дороги – а мне бы домой,
По самой знакомой, по самой прямой.

Другие машины, чудной телефон,
Газеты приносит чужой почтальон.
Не так сварен кофе, и холоден чай,
И в лицах прохожих не наша печаль.

Другая погода, другие дожди,
Мужчины другие, законы, вожди...
Другие надежды, другая судьба.
Я сильная дома, а здесь я слаба.

И даже сама я – не та, что была:
Распалась на буквы, сгорела дотла.

Ирина Винклер

МОЙ ДРУГ РОНАЛЬД

Телефон звонит у меня чаще, чем хотелось бы.

– Хеллоу, это Рональд Рейган. – Во всяком случае, мне так послышалось. – Вам сообщили, что я буду с вами на связи?

– О, вы ещё живы, – неинтеллигентно пошутила я, – сорри, моя секретарша забыла сообщить, уволю её к чертям. Шутник продолжал бубнить по-английски, я ничего не поняла и попрощалась. Через пару минут пришла эсэмэска от подруги: «Приятель из Оклахомы в Берлине. Надо на неделю устроить. То ли консультация в «Шарите», то ли Интерпол ищет. Выручай!»

Заиграл домофон, но напрасно. Поскольку, если я никого не жду, то и не реагирую. А потом какой-то негодяй стал колотить в дверь ногами. Открыла... Щупленький мужичок с торчащими из-под шляпы патлами, с чемоданом, в котором мог бы уместиться сам, вежливо улыбался. Рисунок его шейного платка мне что-то смутно напоминал. А-а-а... роспись под Хохлому!

– Мистер Рейган? – Сообразила я.

– Можно просто Рон.

Он снял шляпу, туфли и отправился в ванную. Там он вынул зубной протез. Видимо, надеялся, что разжалобит меня своей беззащитной улыбкой, и я его не прогоню. Сказал, что, кроме постели, ему от меня ничего не надо. Заметив моё смущение и даже лёгкое негодование, уточнил, что имеет в виду постельное бельё и предпочитает лиловую цветовую гамму и, если можно, асимметричный рисунок. Подумав, добавил: «Ну и ключи, конечно!» Потом «экс-президент» достал вязаную шапочку, вроде ночного колпака, бухнулся в кресло и уснул. Из чувства мелкой мести ночевать я отправилась к той самой подруге, которая мне эту «оклахому – хохлому» сосватала. Оставила записку: «Котлеты в холодильнике. Мафию в дом не пускай. Но уж если придут, то пусть надевают тапочки».

По дороге вспомнила, что на днях у меня вечеринка, а в выходные при-

везут на постой кота, на целый месяц. Назавтра приехала к себе и вежливо позвонила в дверь. Тишина. Вошла. Мебель, к счастью, в сохранности. Рональд сидел, положив ноги не журнальный столик, и курил вонючую сигарку. На голове у него была какая-то пиратская косынка.

– Хау ар ю?

Он помахал мне приветливо, мол, проходи, не стесняйся. Как сумела, объяснила ему ситуацию. Рон сказал, что если кот хорошо воспитан, то он – не против.

– А как, кстати, кота зовут?

– Да не знаю, я его сама ещё не видела.

– Что же ты незнакомых-то котов прямо вот так в дом приглашаешь? – Удивился он.

А ведь Рон прав, черт возьми! И насчёт «парти» он был тоже не против, даже наоборот: «Надеюсь, все говорят по-английски, а то ведь мне скучно будет». Когда мы с Роном спускались в лифте, – я хотела показать ему мусорку и ближайший магазин, – нас встретила соседка и посмотрела на меня укоризненно.

Ну да, позавчера от меня рано утром выходил двадцатилетний симпатичный парень. Ему в Берлине приспичило в азербайджанское посольство. Шустрый мальчонка, он соседку мою решил рассмешить и показал ей «козу». Я бы и не узнала ничего, да тот мне сам позвонил, отчитался: «Тётя Ира, в посольстве все получил, спасибо вам. А у соседки вашей плохо с юмором. Я её с утра развеселить хотел, а она сразу: «Polizei, Polizei!» А я ей в ответ: «Давайте я вам лучше сразу скорую помощь вызову!»... Ой!

А неделю-то назад... сразу несколько пожилых кавалеров, все в кипах, нагло, цинично пили вино на моем балконе и пели «Алейну шалом алэйхем...»

Когда я привезла кота Кузю, Рон заявил, что он остаётся «ещё на две недели». Он по-дружески похлопал перепуганного кота по спине, а тот. Не разобравшись, оцарапал почему-то меня. В этот день на голове у Рона была кипа.

– Рон, ты еврей? – Удивилась я.

– Не знаю, это ведь никогда наверняка не известно.

Я растрогалась и приготовила им обоим суп.

Ночью мне приснилось, что кот сиганул с балкона и угодил на сушившееся внизу белье моей высоконравственной соседки. И она, вроде, грозит, что счёт из химчистки придётся оплатить мне. И вообще, мол, слишком много русско-еврейских котов развелось. Проснувшись, я со страхом позвонила Рону, как там Кузя. Рон говорил сонным и злым голосом:

– Крузйа? Да он мудак, этот твой Крузйа. Весь день он спал, и мне не с

кем было поиграть, а всю ночь орал. Рон сосредоточился и изобразил, как именно.

И тогда я поняла, что если бы Артур Конан Дойль был бы знаком с нашим Кузей, то назвал бы свой роман «Кот Баскервилей».

– Итак, решай: или я, или он!

– Вообще-то, – заметила я, – за кота просили намного раньше, чем за тебя...

Рон смутился, первый раз за все время:

– Ну, тогда я передаю ему трубку, скажи ему по-русски, что я пожилой и больной, мне надо ночью спать, и если такое повторится, я выброшу его с балкона.

Ну, надо же, сон-то почти что в руку!

Прошло уже две недели. Рои и Кузя вместе обедают и мурлычут дуэтом. Кузе нравится запах мерзких сигар. Он жмётся к Рону, как к родному папе. От уборок, готовки для моих постояльцев, от беготни в поисках ночлега для себя, я, наконец-то, здорово похудела. Благодаря общению с Роном, улучшился мой английский. Как же мне все-таки везёт в жизни!

ЗАПЕКАНКА

Немецкий учила я на слух, общаясь со своей полу глухой свекровью. Метод был неплохой, но иногда я путала похожие слова. Свекровь, которую я называла «ома», то есть бабушка, готовилась к своему восьмидесятилетию. Дом у нас был большой, на первом этаже – просторный зал с отдельным выходом на улицу, там и решено было праздновать.

На мою помощь не рассчитывали, но мне очень хотелось показать себя хорошей хозяйкой. У меня было своё коронное не раз проверенное блюдо – запеканка с грибами и я решила с ним дебютировать. Поискала «запеканку» в словаре, нашла и запомнила: АУФЛАУФ. Побежала к оме, где уже собрались её приятельницы, не то, чтобы интеллигентные, но приветливые и ухоженные пожилые дамы. Пришли они по поводу утверждения праздничного меню: кто и что готовит и кто за что отвечает. Из-за своего примитивного немецкого я чувствовала себя среди незнакомых неловко, но всё же собралась с духом и выпалила: – Ома, я хочу сделать тебе к празднику... – я запнулась, вспоминая новое слово и, спутав с услышанным то ли от медсестры, то ли в аптеке похожим, уверенно закончила: АЙНЛАУФ*

Я подумала, что свекровь может мною гордиться. Старушечки, которые до сих пор поощрительно мне улыбались, вдруг примолкли и насторожились. Свекровь решила, что ослышалась:

– Что ты мне сделаешь?

Сохраняя на лице улыбку «мисс лучшая невестка», я охотно повторила.

– Не надо, – довольно холодно процедила она. Мне было известно её недоверие ко всему русскому, в том числе и к еде.

– Ты напрасно, ома, мне не доверяешь, у меня это очень хорошо получается.

Свекровь надменно поджала губы и прошипела:

– Если будет надо, я попрошу медсестру Ангелику. А сейчас продолжим, ведь тридцать человек придёт, не шутка ...

– Вот дура старая, – подумала я, для тебя же стараюсь. Ей кажется, наверно, что я мало приготовлю и на всех не хватит. Ну ладно, ома, если ты лично не хочешь, я тогда твоим гостям сделаю. Слова «противень» я тоже не знала и поэтому просто развела пошире ладони, показывая его размеры:

– Вот такой айнлауф. Мало не покажется! Такой большой русский айнлауф.

Одна из дам, с блуждающей шаловливой улыбкой, то ли она вспоминала бурную молодость, то ли планировала охмурить какого-нибудь актуального кавалера, вдруг посерьёзнела и по-деловому спросила:

– А как это – русский? Мы вот делаем её с ромашковым чаем.

Почувствовав интерес к своему проекту, я победоносно глянула на свекровь и стала быстро соображать, с чем у нас идёт запеканка.

– Ну, мужчины – с водкой, женщины – кто с водкой, а кто с вином, ну а кто за рулём, можно и с томатным соком. Две бабки смотрели недоверчиво, остальные теоретически это допускали. А что, если у русских медведи по улицам ходят и морозы под сорок, может и правда, Айнлауф лучше с водкой...

Бабуся в рыжем паричке кричала в ухо своей глухой соседке:

– Русская невестка хочет учиться на медсестру, предлагает айнлауф бесплатно тем, кто хочет, ей надо для практики...

– Вот пусть на Эльфриде и тренируется, так ей и надо, – отвечала та.

Но вредина свекровь упорно трясла головой в смысле – найн.

Мне было очень обидно – вот ведь какая предвзятость. В ход пошёл главный и последний козырь – авторитет её сына.

– А ты знаешь, ома, мне вот Франк недавно говорит:- Сделай-ка мне, мышка моя к ужину что-нибудь русское, ну я ему айнлауф и сделала. Видела бы ты, как ему понравилось, аж слюнки от удовольствия потекли, добавки потребовал. Утром опять вспомнил, давай, говорит, холодный, а то я на работу опоздаю.

Худая старушенция с палочкой хихикнула и заявила, что тёплый намного приятнее. Все согласно закивали. Но кто-то ей возразил, что температура должна быть строго тридцать семь градусов.

Мне захотелось покрутить пальцем у виска. Они что, за стол с градусником садятся? И вообще, они все чокнутые или только эта, с розовыми пёрышками в волосах?

Видя, что меня не унять, свекровь пошла на компромисс, склонилась к моему уху и прошептала: -Ну хорошо, хорошо, сделай, только не к празднику, а я сама тебе скажу – когда. Я решила поторговаться и тоже наклонилась к ней:

– Давай сегодня пробный сделаем, маленький. А если тебе понравится, то потом- для всех. А не понравится, я могу пирожки испечь.

– Давай лучше сразу пирожки! – взмолилась свекровь. Все мои аргументы были исчерпаны, я кивнула всем на прощание и разобиженная пошла к себе. По дороге услышала чьё-то замечание:

– Эх, не ценишь ты, Эльфрида, какой брильянт тебе достался.

– Ценю, отвечала она, но пока я ещё сама решаю, делать айнлауф или не делать.

Вдруг я засомневалась, надо ли было так настаивать, может у них запеканка вовсе не праздничное блюдо, вроде как у нас яичница или каша. Да и в большой словарь не мешало бы заглянуть, может ещё какие оттенки значения у слова есть. Нашла словарь, полистала, против слова айнлауф стояло: клистир, клизма. Позор-то какой, хоть бы они не подумали, что я над ними насмехаюсь ... Побежала назад, извиняться, пока гости не разошлись. Они стояли уже в дверях. Я тычу в словарь, открываю рот, но она показывает знаками, мол – помолчи. Наконец закрывает дверь и, доверительно улыбаясь, говорит:

– Можешь как раз сегодня мне его сделать, я просто при чужих говорить не хотела. А чужим не вздумай делать бесплатно, бери хоть по пять евро для начала.

Я оторопела, но быстренько поменяла извиняющееся выражение лица на обиженное:

– Ну, уж нет! Я ведь от всей души предлагала, а ты от меня, как от мухи надоедливой..., да ещё при людях. Вот пусть Ангелика и делает, раз ты ей больше доверяешь.

**АЙНЛАУФ – Einlauf/ нем./- клизма.*

Виталий Шнайдер

ЖУЛИКИ БЕСПЛАТНЫХ УРОКОВ НЕ ДАЮТ

Господин отравитель

Если человек, якобы случайно присевший рядом с вами за столик в кафе, на самом деле окажется отравителем, то ваш приятный вечер вполне может закончиться в лучшем случае в придорожной канаве с последующими поносом и рвотой, а также рябью в глазах и шаткой походкой, а в худшем... Если в первом случае, очнувшись в канаве, вы не обнаружите личных вещей и денег, то, по крайней мере, маленький повод для радости у вас будет – ведь вы остались живы. Во втором же случае потеря денег и вещей вас волновать уже не будет, как и вообще всё брренное.

Промозглым зимним вечером весёлая компания отмечала в одном из небольших баров конец недели. Переходя из одного питейного заведения в другое, изрядно поддатые друзья (а было их поначалу трое) не заметили, как наступил вечер, а за ним и ночь.

Ближе к ночи третий друг слегка устал, а двое других поняли: пора его отгрузить в таксомотор и отправить малой скоростью домой, как некую ценную недвижимость. Что вскоре и было сделано. Оставшись вдвоём, друзья отправились на квартиру к одному из них, дабы продолжить мероприятие в спокойной домашней обстановке (естественно, прихватив с собой бутылку коньяка).

Когда Пётр засобирался домой, была уже глубокая ночь. Алкогольные пары затмили разум, и вместо дома он отправился в настежь открытое всем ветрам «кафе-чепок» в близлежащем спальном районе. Там наш герой наконец-то навёл резкость и внезапно обнаружил своего бывшего коллегу по работе. Коллега обрадовался встрече, и они немедленно взяли ещё выпить (сто грамм, как известно, не стоп кран...).

Через некоторое время за их столик подседа довольно странная пара – хорошо одетый мужчина восточного типа и не очень хорошо одетая жен-

щина с испытанным лицом и стеклянным взглядом. Но коллеги, находясь под высоким градусом, не обратили никакого внимания на явный контраст в одежде и внешности подсевших к ним незнакомцев.

Через некоторое время бывший коллега Петра стал клониться на «левое крыло», и Пётр отправился провожать его на такси, беспечно оставив недопитые кофе и джин-тоник на столике. Когда он вернулся, странная пара продолжала сидеть на прежнем месте, о чём-то тихонько переговариваясь. Пётр допил кофе, джин-тоник и хотел было встать, чтобы идти на остановку такси. Но в голове почему-то зазвенело, руки и ноги стали ватными, а перед глазами заребило, как в телевизоре, из которого выдернули антенну... Почувствовав, что вырубается, Пётр собрал остатки сил и, пошатываясь, поплёлся к стоявшему неподалёку от кафе таксомотору.

Хорошо одетый мужчина последовал за ним, прыгнул в машину и, сев рядом с Петром, вдруг сказал: «Мы же договорились поехать в гости».

«Какие ещё гости?» – успел подумать Пётр и отключился.

Очнулся он в тот момент, когда шофёр грубо выталкивал его из машины, угрюмо пробурчав: «Уже приехали». Пётр вышел и сквозь муть в глазах увидел, что машина стоит неподалёку от того места, где он в неё и сел. Он отправился в сторону дома, его мутило, во рту ощущался странный привкус, ноги еле передвигались. Через какое-то время он все-таки добрался до дома, где, не раздеваясь, свалился на постель и надолго провалился в чёрную бездонную яму.

Он проспал более суток, а когда проснулся, обнаружил, что из кошелька исчезли четыреста евро, пропал также пластиковый пакет с личными вещами и бейсболка. Пётр отправился в наркологический диспансер и сдал анализы для проведения экспертизы на клофелин. Но клофелин в его организме обнаружен не был. Видимо, это было какое-то малоизвестное снадобье растительного происхождения, которое та сладкая парочка то ли подлила, то ли подсыпала в напитки, пока он провожал бывшего коллегу. Хорошо ещё, что почки и сердце у Петра были более-менее в порядке, и доза была небольшой (по-видимому, работали профессионалы), а иначе всё могло закончиться весьма и весьма печально...

Отправился Пётр в ближайшее полицейское отделение и наколол там заявление, в котором буквально по часам и минутам описал весь тот злополучный вечер. Следователь по особо важным делам (так, по крайней мере, он представился) долго беседовал с Петром, пообещал разобраться и непременно изловить грабителя-отравителя. Петру дали толстый альбом с множеством гангстерских физиономий, но среди них фото оттиска отравителя не оказалось.

Как выяснилось несколько позже, следователь своего слова не сдер-

жал, а просто передал бесперспективный «висяк» участковому инспектору (сами понимаете, не царское это дело...). Участковый же, не мудрствуя лукаво, принялся таскать в участок всю честную компанию, пытаясь повесить «темнуху» на кого-нибудь из друзей Петра. Но, в конце концов, понял, что они «не при делах» и оставил их в покое (однако, повезло им, что относительно понятливый участковый попался).

Отравитель же и его подружка со стеклянным взглядом как сквозь землю провалились, хотя Пётр несколько раз поздними вечерами приходил в знакомый «чепок» и внимательно разглядывал сидевшую там публику. Надежды на полицию у него уже не было. А в скором времени он встретил отравителя в обществе трёх субъектов неприятной наружности в районе железнодорожного вокзала. На коротко стриженной голове отравителя красовалась без вести пропавшая бейсболка Петра.

«Шерше, дурак, шерше...»

Таллиннский предприниматель Александр Табуреткин скептически относится к разного рода гороскопам. И, надо сказать, для этого у него имеются все основания. Некоторое время назад избитая фраза «живите по гороскопу» была для Табуреткина и девизом, и жизненным кредо, но однажды столь обожаемый Александром гороскоп сыграл с ним злую шутку.

Табуреткин должен был отправиться в командировку в одно очень солнечное островное государство. Нужно было ехать поездом до Риги, потом лететь самолётом до столицы островной страны, а оттуда добираться автобусом. Прежде, чем отправиться в путь, он заказал себе личный гороскоп на каждый день и буквально каждый свой шаг сверял с этим гороскопом.

Островные партнёры встретили его в аэропорту на автомобиле. Командировка прошла вполне успешно, и, прежде чем пуститься в обратный путь, он заглянул в свой гороскоп и выбрал день наиболее благоприятный для возвращения. В тот день гороскоп сулил Табуреткину сплошные удачи.

От столицы островного государства до международного аэропорта было около двадцати километров. Партнёры по бизнесу, к которым ездил Табуреткин, подробно проинструктировали его об обратной дороге. Они предупредили Александра и о том, что прежде чем садиться в такси, нужно договориться о цене. Иначе аборигены обжулят приезжего – таков местный обычай.

До столичной автобусной станции Табуреткин доехал без всяких приключений. Но когда он доставал свою туго набитую сумку из багажного отсека автобуса, к нему подскочил коренастый кривоногий абориген и,

буквально выхватив сумку из рук, бросился со всех ног бежать в сторону стоянки такси. Подбежав к одному из таксомоторов, абориген открыл багажник и стал запихивать туда сумку. Разъярённый коммерсант подскочил к похитителю с кулаками, но тут обнаружилось, что похититель сумки – таксист и таким оригинальным способом затаскивает клиентов в свою машину. По-видимому, конкуренция между таксистами существует и на экзотических островах. В первый момент Александр хотел пересесть в другое такси с менее нахальным водителем, но потом вспомнил об обещанных гороскопом удачах и решил покориться судьбе.

Он сел в машину и попросил отвезти себя в международный аэропорт. Абориген повёз его, но через некоторое время стал показывать тарифные таблицы с ценами на извоз и объяснять, что поездка обойдётся Табуреткину в два раза дороже, ибо ему, бедному таксисту, якобы придётся возвращаться из аэропорта порожняком. Коммерсант с опозданием вспомнил о наставлениях по поводу местных обычаев, но решил не сдаваться без боя. Он торговался с пеной у рта и снизил сумму на треть. Но когда приехали в аэропорт, абориген снова потребовал двойной тариф.]

Без оплаты двойного тарифа абориген отказывался открыть багажник и отдать Табуреткину его сумку. После длительных препираний Александр, исчерпав весь запас английского, загнул на родном русском такую матерную тираду, что опешивший абориген открыл багажник и молча вернул сумку.

Он ещё долго преследовал Табуреткина на территории аэропорта, требуя недоплаченную часть двойного тарифа, но коммерсант отмахивался от него, как от надоедливой мухи. Этот инцидент не остался незамеченным аборигенской охранкой, сотрудники которой задержали Табуреткина перед вылетом и долго его допрашивали, обыскивали багаж и даже отправили на экспертизу большую плитку шоколада, находившуюся в сумке. Похоже, они приняли Табуреткина за международного террориста, а в шоколаде надеялись обнаружить пластиковую взрывчатку. Ничего не найдя, они извинились и отпустили измученного допросом коммерсанта восвояси.

Табуреткин сдал сумку в багажное отделение и через несколько часов приземлился в Риге. Каково же было его удивление, когда, придя за сумкой, он не обнаружил никаких признаков присутствия оной. Сумка бесследно исчезла. В рижском аэропорту был составлен акт о пропаже.

Рейсы в это островное государство из Риги осуществляла совместная латышско-островная фирма «Латвиэн айрлайнс». Через обслуживающий персонал Табуреткин узнал, что пропажи багажа на этих рейсах давно стали нормой. Была даже своя печальная статистика: за один рейс пропадало в среднем одно место багажа, причём пропажи происходили в основном на аборигенской стороне, – видимо, это тоже часть тамошнего обычая.

Тут в первый раз Табуреткин усомнился в справедливости гороскопа, ведь в этот злополучный день гороскоп сулил ему максимум удачи.

Пока оформлялись бумаги, пока велись переговоры с руководством аэрофирмы, ушёл вечерний поезд на Таллинн, а за ним и последний автобус. В Риге было совсем не жарко, не то, что на солнечных островах. Разница температур составляла градусов эдак тридцать. Тёплые вещи остались в сумке и канули в небытие вместе с ней. В гостиницу Табуреткин тоже не попал – достаточных для этого средств у него уже не было. Ночь он провёл на жёстком сиденье рижского вокзала, выбивая зубами чечётку и проклиная аборигенский рай с его странными законами гостеприимства. Ранним утром следующего дня он сел в поезд и приехал домой.

С этого момента началась его долгая тяжба с рижско-островной авиакомпанией. Они начислили компенсацию, исходя из смешного тарифа – 10 американских долларов за килограмм пропавшего багажа. Табуреткина это не устраивало: пропала изрядная часть его гардероба, подарки семье и друзьям, а главное – образцы товаров, которые он вёз в свою фирму. После длительной переписки и многочисленных телефонных звонков аэрофирма пересмотрела свою первоначальную калькуляцию и решила выплатить Табуреткину по 20 долларов за килограмм утерянного багажа. Через некоторое время Александр в очередной раз позвонил в Ригу, и директор авиакомпании объявил ему о том, что можно приезжать за компенсацией – деньги, мол, в бухгалтерии.

Табуреткин собрался ехать на следующий день. Он заглянул в личный гороскоп и увидел, что в этот день гороскоп сулит ему прибыль. Воодушевлённый этим, он сел в поезд и прибыл в стольный город Ригу. Но в бухгалтерии аэрофирмы никаких денег для него не оказалось, мало того, никто из сотрудников ни о какой компенсации и не слыхивал. А господин генеральный директор изволили отъехать в загранкомандировку.

Табуреткин был в отчаянии, – что делать? Вернуться домой без компенсации или ждать возвращения директора в Риге? Но это накладно, а история с утерянной сумкой и без того уже обошлась Александру в круглую сумму.

И тут Табуреткина осенило: в офисе аэрофирмы работали исключительно женщины. «Шерше ля фам» – вспомнил он знаменитую французскую пословицу. Мужчина Табуреткин был видный и при его командировочной жизни легко знакомился с дамами. Он решил отправиться прямоком к главному бухгалтеру. До этого Александр видел её в коридоре: невысокого роста, но со вкусом одета и, как говорится, все при ней. Выслушав взволнованный рассказ Табуреткина, она проворковала, оценивающе глядя на него своими темно-карими с чертовщинкой глазами:

– Что ж, я помогу вашему горю, молодой человек.

После небольшой паузы она добавила, понизив голос:

– Если, конечно, вы пригласите даму в ресторан...

Табуреткин как истинный джентльмен, не задумываясь, согласился. После чего искомая сумма была доставлена прямо в кабинет главбуха. Сказано-сделано: места в ресторане Александр заказал, до встречи оставалось ещё время, и он купил билет на поезд до Таллинна на следующий день. Оно и понятно, Табуреткин твёрдо верил в продолжение полезного знакомства в интимной обстановке.

Банкет начинался прекрасно. Он произносил тосты, она смотрела на него своими темно-кариыми и слегка кивала головой. От её влажного взгляда Александр распался все больше... Но в самый разгар празднества за ней пришла служебная машина, и она, извинившись, покинула ресторан, похоронив все сладкие надежды Табуреткина. К тому времени он изрядно набрался и остановиться уже не мог, да и не хотел. Чтобы залить досаду, он взял ещё коньяку, потом ещё и ещё, пока не спустил остатки компенсации, заказывая музыку для незнакомых дам и покупая им огромные букеты роз... Ночь он провёл на знакомом до боли сиденье рижского вокзала.

Домой бизнесмен приехал в потрёпанном виде и без гроша в кармане. Голова трещала. Войдя в свою квартиру, Табуреткин дал волю чувствам: он разорвал свой злополучный гороскоп на мелкие клочки и долго топтал их ногами. А в его голове стояло какое-то странное гудение и слышался препротивнейший голос, который повторял одну и ту же фразу: «Шерше, дурак, шер-ше!..»

На море и обратно

Документальный детектив.

После семилетнего отсутствия Сеня Бабушкин снова прибыл в город своего розового детства Одессу. Его желание ступить на знакомые с малых лет камни одесских мостовых было столь велико, что, сунув чемодан в отсек камеры хранения вокзала, он почти бегом пересёк привокзальную площадь и по Пушкинской улице отправился на Дерибасовскую.

О, знакомые с детства улицы и многократно воспетые поэтами тенистые бульвары Одессы-мамы. Здравствуй, Дюк де Ришелье, здравствуй, Потёмкинская лестница и Морвокзал! Привет, Чёрное море!

Погуляв по улицам Одессы до вечера, Сеня позвонил старым друзьям, которые немедленно пригласили его к себе в гости. Встреча была радостной, за разговором и напитками (не столько прохладительными, сколь-

ко горячительными) незаметно прошла ночь, – первая ночь пребывания Бабушкина на родной одесской земле. Утро было солнечным и довольно жарким. Друзья, так и не сомкнув глаз, отправились на работу, а Семён, оставив чемодан у них на квартире, как был, при полном параде поспешил на пляж. Бабушкин отправился на Ланжерон – так называется знаменитый одесский пляж, часто снившийся ему по ночам все последние годы.

В руках у Бабушкина был яркий пакет с надписью «MONTANA», в пакете – деньги, томик стихов с автографом автора, очки в кожаном футляре, наручная сумочка из крокодиловой кожи и золотые часы, подаренные когда-то отцом. Пройдя через редкую лесопосадку, он вышел на песчаный пляж к длинным рядам деревянных топчанов. Народу на пляже в этот ранний утренний час было совсем немного

Бабушкин опустился на один из топчанов, разделся и, оставшись в плавках, начал аккуратно складывать свой шикарный прикид в пакет. В это время на соседний топчан присел долговязый молодой парень в светлых летних брюках, но без рубашки, в шлёпанцах на босу ногу, в руках у него был чёрный пластиковый пакет, какие продают на Привозе цыгане. Парень небрежно бросил чёрный пакет на топчан рядом с собой. Семён обратил внимание, что тот был абсолютно не загоревшим. Глаза парня беспокойно бегали по сторонам, но он, казалось, не обращает никакого внимания на Семена. Вытянув длинную шею, парень неотрывно смотрел в сторону моря.

Это успокоило Бабушкина, в душу которого было закрались смутные подозрения. Он закончил укладывать вещи в пакет, снял туфли и, положив в них носки, с разбегу бросился в море.

Окунувшись в темно-зелёную, как изумруд, солёную морскую воду, Семён короткими саженками, отфыркиваясь и громко сопя, поплыл к скрытому на полметра под водой волнорезу, который находился метрах в ста пятидесяти от берега. Подплывая к цели, он оглянулся. Пакет лежал на прежнем месте, парень сидел на том же топчане, но теперь он, не отрываясь, смотрел в сторону пляжной лесопосадки.

Бабушкин доплыл до волнореза, забрался на него и, стоя по колено в воде, посмотрел в сторону берега. Но ни парня, ни своего пакета с надписью «MONTANA» он не увидел. Семён подумал, что заплыл в сторону от того места, где оставил пакет с вещами. Он стал внимательно, до рези в глазах, всматриваться в береговую полосу. Но парня простыл и след, пакета тоже нигде видно не было. Обеспокоенный не на шутку, Семён прыгнул в воду и быстро поплыл к берегу.

Выйдя из воды и подбежав к знакомому топчану, он обнаружил только туфли с аккуратно вложенными в них носками. Пакет вместе со всем

содержимым бесследно исчез. Бледнолицего парня тоже нигде не было. Натянув носки и сунув ноги в туфли, Семён бросился в сторону лесопосадки, но не обнаружил там вероятного похитителя своего добра.

– Ах, Одесса, ты совсем не изменилась! – несколько раз с горечью повторил Бабушкин. Однако что делать? Ведь в плавках, носках и туфлях до города не добраться. В таком виде в такси, пожалуй, не посадят. Можно, конечно, прикинуться спортсменом и совершить марафон, но расстояние до дома друзей довольно велико, да и жара стоит приличная. Температура, несмотря на утренний час, превышала сорок градусов. Не очень-то побегаешь, тем более без соответствующей подготовки. После нескольких минут колебаний, Бабушкин решил обратиться в местные правоохранительные органы. Благо, прямо на пляже располагалось отделение милиции.

Постучав в ржавую металлическую дверь с потрескавшейся пластмассовой табличкой «МИЛИЦИЯ», он вошёл в небольшой прямоугольный кабинет с обшарпанными стенами и рассохшимся деревянным столом. За столом сидел молодой человек в одних плавках. На ржавом гвозде, под углом вбитом в стену, висел мышиного цвета милицейский китель с лейтенантскими погонами. При появлении Бабушкина хозяин кабинета вопросительно уставился на него, прикрыв папкой с надписью «ДЕЛО» какой-то иллюстрированный журнал. Бабушкину показалось, что это был «PLAYBOY».

– В чем дело? – после небольшой паузы спросил хозяин кабинета.

– В-в-вещи у-украли, – почему-то вдруг начав заикаться, выдал из себя Семён.

– Тааак, сегодня уже девятый, – растягивая гласные, произнёс человек в плавках.

– Ч-ч-что з-значит, девятый? – спросил Семён.

– А то и значит, что девятый с утра, – зло бросил голый лейтенант, – время только половина девятого, а уже девять человек без одежды остались. Сегодня у местной братвы неплохой улов, – пояснил он.

– Что же делать? – спросил Семён, наконец-то перестав заикаться.

– Будем описывать вещи составлять, – сказал лейтенант, – вот вы сюда приезжаете, ворон ловите, а нам лишние хлопоты. Все равно это дело тухлое.

– Как это, тухлое? – удивился Бабушкин.

– А вот так, – грубо сказал человек в плавках, – гиблое оно. Ищи теперь ветра в поле. Но, если вы настаиваете, мы составим акт, протокол заполним, дело заведём. Только это все без толку.

– А как же мне быть?

– Не знаю. Раньше нужно было думать. Вон, по трансляции каждые пятнадцать минут передают: «Сдавайте вещи в гардероб пляжа, не оставляйте

их без присмотра!» Для кого они в такую жару надрываются, или вы, не дай бог, глухой?

– Как же я поеду домой? – спросил, почему-то озираясь, Бабушкин.

– А это ваши проблемы, – сказал, начиная нервничать, лейтенант. – Пешком пойдёте.

– В плавках?

– Да, в плавках. Вот вам ещё и туфли оставили.

Тут до Бабушкина дошла вся абсурдность ситуации. Он вдруг понял, что с лейтенантом придётся как-то договориться, иначе от визита в милицию пользы не будет никакой.

После кратких переговоров они решили так: заявление Семён не пишет, и дело лейтенант не заводит. За это добрый лейтенант даёт Бабушкину, конечно с возвратом, старые милицейские брюки с лампасами, но без замка на ширинке, поношенную клетчатую рубашку без пуговиц, и Семён в одежде, но зайцем, едет на трамвае к друзьям. Платой за услугу будет бутылка водки, которую вместе со взятой напрокат одеждой Семён до вечера доставит в отделение милиции.

В трамвае какой-то небритый субъект, похожий на бомжа, спросил у него:

– Который теперь час?

Семён чуть не выкинул наглеца из трамвая – ведь часы, подаренные отцом, остались в украденном пакете. Дождавшись у подъезда возвращения с работы друзей, Бабушкин быстро переоделся и поспешил в бакалейный магазин, где купил местного разлива водку со странным названием «ПОСОЛЬСКАЯ».

– Видимо, такое название у водки потому, что она солёная на вкус, – подумал он. После детективной истории на пляже Бабушкин уже ничему не удивлялся.

Он отвёз взятую у лейтенанта одежду и водку в ланжероновское отделение милиции и вернулся к друзьям, которые к этому времени накрыли обильный стол. Они искренне сочувствовали Семёну, приговаривая:

– В Одессе не зевая, не то облапошат!

Подвыпив, друг тихо, так, чтобы не слышала жена, сказал ему на ухо:

– Был как-то и у меня такой случай, новые фирменные штаны скоммуниздили, гады, пока я в море с девочкой расслаблялся. Так ты думаешь, я голяком домой побежал или стал к ментам обращаться? Ничего подобного. Я спокойно походил по пляжу, смотрю – парень идёт купаться – лох вроде тебя. А размер штанов у него – точь-в-точь мой. Я его джинсы натянул, да и ходу с пляжа. Пусть теперь у него голова болит, раз он лох. У нас в Одессе так – кто не успел, тот опоздал. Кто последний, тот и крайний. Вот

так-то, прибалтиец ты наш дорогой. Что касается украденного барахла – так это тебе первый урок в Одессе-маме, а бесплатных уроков наши жулики не дают.

Бабушкин слушал монолог друга, печально понутив голову. После этого откровения ему вдруг стало как-то не по себе. Он поблагодарил друзей за гостеприимство и, прихватив свой, теперь уже тощий чемодан, отправился в ближайшую гостиницу.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Лейках Леонид – Родился 1929 г. в Одессе. Станкостроитель. Кандидат технических наук. Многократно печатался в технических и научных журналах. Литературным творчеством занялся в Берлине. Сотрудничал с газетой «Русский Берлин».

Черепашенец Борис (1923 – 2010) – Родился в городе Бердичеве, по профессии инженер. Участник Великой отечественной войны. С 1993 г. жил в Германии. Публикации в журналах: «Берега», «Третий этаж».

Усач Леонид (1928 – 2005) – Участник войны. Заслуженный артист России, автор и исполнитель юмористических рассказов. Его актерские байки печатались в периодике России и Германии. Автор книги воспоминаний «Закулисные приколы». Последние годы жил в Берлине.

Нойман Мелита (Melitta Neumann) – Родилась в немецкой колонии на Украине, вместе с родителями в годы войны была вывезена в Германию. После возвращения в СССР жила в Архангельской области, Казахстане. Окончила Институт иностранных языков. С 1980 года проживает в Ганновере. Перевела ряд произведений Пушкина, Маршак, Бродского.

Викман Сергей – Родился в 1951 г в Москве. По образованию – радиоинженер. Жил и работал в Киеве, в городе Грязи Липецкой области, в городе Винница на Украине, откуда и переехал в 1999 году в Германию. Публиковался в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, в Виннице, в Киеве, а также в Эстонии и Латвии, в США, Англии и Германии. Автор книги стихов «49». Совместно с М. Петровым написал книгу «Табаш».

Завадовская Ольга – Родилась во Львове. Основная профессия – преподаватель музыки. Её стихи часто можно видеть в русскоязычных изданиях Германии. «Я снова в ожидании чуда», «Лирика», «Немыслимо любить» – книги лирических стихотворений поэта.

Пеньков Владислав – Член Союза российских писателей (мурманское отделение). Автор двух поэтических сборников и ряда публикаций в российской и заграничной периодике.

Аросев Григорий – Родился в Москве в 1980 г. Прозаик и критик. Автор сборника рассказов «Записки изолгавшегося» и биографической книги «Одна на всех». Публикуется в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Звезда», «Вопросы литературы». Некоторые его произведения переведены на немецкий и другие языки.

Крючков Павел – Родился в 1966 г. в Москве. Окончил журфак МГУ, работал в редакциях многих газет и журналов, на радио и ТВ. В настоящее время – зам. гл. ред. журнала «Новый мир» и зав. отделом поэзии того же журнала. Ведёт научную работу в «Доме-музее К. Чуковского» в Переделкине. Сотрудничает с православным журналом «Фома». Автор множества публикаций в «Новом мире» и СД-обзоров из цикла «Звучащая литература».

Баскакова Татьяна – переводчик с немецкого, французского и итальянского языков. Лауреат премий Андрея Белого (2008) и Жуковского (2010). Перевела книги А. Роке «Брейгель, или Мастерская сновидений», И. Фрэн «Клеопатра, или Неподражаемая», О. Роллена «Пейзажи детства» и др., а также произведения К. Крахта, А. Шмидта, А. Дёблина, Т. Бернхарда, Г. Йенке, несколько романов Ханса Хенни Янна (см. нашу публикацию). Является составителем и переводчиком книги «Пауль Целан. Стихотворения, проза, письма» (2008). Татьяна Баскакова имеет многочисленные публикации в журнале «Иностранная литература» и других периодических изданиях.

Беззубов Геннадий (род. в 1946 г, Москва) – Жил в Киеве и Ленинграде. Работал в киевских и ленинградских газетах. С 1990 г. живет в Иерусалиме. Публикации: до 1987 г. — журналы ленинградского самиздата и антология К. Кузьминского «У Голубой лагуны», после 1987 г. — журналы «Новый мир», антологии «Строфы века», «Самиздат века». Автор изданных в Иерусалиме книг: «Амнистия слова» (1992), «Случайный свидетель» (1997), «Полдень: Поэма» (1997), «Вместо дружеских писем» (2001), «Позднее среднегорье» (Иерусалим, «Швиль», 2006).

Турицина Нина – Родилась в Уфе. По образованию филолог. Автор книг прозы: «Белое на белом» (2007), «Средство от измены» (2010). Печаталась в журналах «Победа» (г. Москва), «Литературная губерния» (г. Самара), «Порт-фолио» (Канада), «Юность», «Урал», «Бельские просторы», «Агидель» и др.

Иноземцева Елена – Родилась в Семипалатинске (Казахстан), там же получила образование (художественно-графический факультет Семипалатинского университета). Работала преподавателем, журналистом, художником-постановщиком в театре. С 1998 года живет в Германии, окончила Лейпцигский университет (славистика, история искусств). Работала журналистом и редактором в русскоязычных газетах и журналах. Организатор литературного объединения

«buterbrod». Пишет стихи и прозу. Публикации в литературных изданиях России, Германии, Казахстана, США, Украины.

Калинина Ольга – Родилась в Нижегородской области, закончила Костромской педагогический институт, художественно-графический факультет. Член Союза художников России, отделение храмового искусства, пишет иконы. Принимает участие в выставках, международных культурных программах, в литературных конкурсах, пишет статьи о современной иконописи.

Зайчикова Дарья – В 2012 году окончила юридический факультет и факультет романо-германской филологии Воронежского государственного университета. Лауреат «Российского писателя» (издание Союза писателей России) в номинации «Новое имя» за 2013 год. Публиковалась во многих литературных изданиях.

Жукова Виктория – Член СП Москвы, член Международного СП, автор пяти книг повестей и рассказов. Имеет многочисленные публикации в берлинских журналах и альманахах.

Мильченко Евгения – Родилась в 1991г в г. Куйбышеве (ныне – Самара). Учится в государственном архитектурно-строительном университете на 6-м курсе. Имеет поэтические публикации.

Аранов Леонид – Родился в Ленинграде в 1940 году. Окончил в 1966 году Ленинградский военно-механический институт. Работал преподавателем физики, инженером в судостроительном проектно-конструкторском бюро. Писал исключительно «в стол», и лишь в 2011 в газете «Зарубежные задворки» появилась его работа, посвященная анализу отдельных фактов из истории генерала А. Власова. Впоследствии были опубликованы и другие работы.

Сергей Филиппов – Член литературной студии «Вешняки». Печатался в журналах «Зарубежные задворки», «Сибирские огни», «Южная звезда», «Неман», «Ковчег», «Невский альманах» и др. Номинант премии «Поэт 2014 г.» Российского союза писателей. Победитель ежемесячного поэтического конкурса журнала «Эрфолг» за июнь 2015г. 2-е место на конкурсе журнала «Эдита», посвященном 135-летию А.А.Блока.

Мельникова Ольга (Кныш Ольга Николаевна) родилась 13 мая 1939 года в деревне Куцевщина Великораевского сельсовета Копыльского района Бобруйской области (Белорусская ССР). Начиная с 2011 года её сын Алексей Мельников стал записывать её устные рассказы о военном детстве.

Филимонова Наталья – Родилась в Кировской области. Закончила ВятГСХА по специальности биолог. Живет в Санкт-Петербурге. Публикации во многих литературных альманах и журналах. Сборники стихов: «Междусловие», 2013 и «Город седых обочин», 2014.

Винклер Ирина – Родилась и жила в Баку. По профессии инженер-нефтяник. В Германии с 1992 года, в Берлине с 2005 года. Начала писать рассказы два года назад.

Шнайдер Виталий – Родился в 1954 году в Одессе. В 1962 году вместе с семьёй переехал в город Таллин (Эстония). Профессия – журналист. Работал в редакциях ряда русскоязычных газет страны. Выпустил в свет две книги стихов: «Прерванный сон» (Таллин, 1996 г.) и «Знак совпадения» (Таллин, 2001 г.). Сейчас живет Ганновере. Член Международного союза журналистов (IFJ). Входит в состав правления немецко-русского литературного общества «Die Fähre / Паром».

